

Анн-Робер Жак ТЮРГО

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Перевод И.А. Шапиرو

М.: государственное социально-экономическое издательство. 1937

Веб-публикация: библиотека [Vive Liberta](http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#turgot) и [Век Просвещения](http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#turgot), 2009. Сканированный текст книги разделен на 4 файла

(1) От издательства

Критические замечания о труде Мопертюи

Философские размышления о происхождении языков и о значении слов (март 1750)

(2) Письма к аббату Сисе-старшему

О системе Беркли «Происхождение наших знаний» (октябрь 1750)

Второе письмо: понятие о пространстве; существование тел; достоверность моего «я»; пространство и субстанция

Последовательные успехи человеческого разума

Речь, произнесенная в Сорбонне 11 декабря 1750 г.

(3) Рассуждение о всеобщей истории (план двух рассуждений)

Идея введения

Образование правительств и смешение народов (план первого рассуждения)

Прогресс человеческого разума (план второго рассуждения)

(4) Размышления о языках

I. Общие размышления и различные мысли (польза изучения языков для метафизики и истории)

II. Другие размышления о языках (примеры образования слов)

III. О слове «любовь» и о любви к богу

Существование

Определение

О понятии существования

Доказательства существования внешних существ

В нашей библиотеке

Подборка материалов на электронные материалы о Тюрго

<http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref3.htm#turgot>

Ссылки на некоторые экономические труды Тюрго были собраны в нашем сообществе

ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ:

Набросок письма генеральному контролеру Бертену о проекте эдикта Декларация короля, содержащая разрешение на оборот зерновых, муки и овощей по всему королевству с освобождением от всех пошлин, включая дорожные и мостовые

Эдикт короля относительно свободы вывоза и ввоза зерновых в королевстве

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ВЕНСАНУ ДЕ ГУРНЭ

ЯРМАРКА

УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДОВ

ПЛАН РАБОТЫ О ТОРГОВЛЕ, ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ, ПРОЦЕНТЕ И БОГАТСТВЕ ГОСУДАРСТВ

ПИСЬМО АББАТУ ДЕ СИСЭ О БУМАЖНЫХ ДЕНЬГАХ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О РУДНИКАХ И КАМЕНОЛОМНЯХ

ПООЩРЕНИЕ МАНУФАКТУР (ПИСЬМО ТРЮДЭНУ)

ПИСЬМО ЮМУ

Размышления о создании и распределении богатств

Ценность и деньги

<http://www.diary.ru/~vive-liberta/p79951619.htm>

Я.Захер. Тюрго

http://enlightment2005.narod.ru/papers/zakher_turgo.pdf

Тематические материалы:

Экономическая ситуация во Франции в отчетах Толозана, Неккера и Ролана (при Старом порядке)

http://vive-liberta.narod.ru/doc/econ_anc-reg.pdf

З.Иванова. Дискуссии о французском дворянстве

<http://enlightment2005.narod.ru/papers/z-ivanova.pdf>

Агония французского абсолютизма

<http://enlightment2005.narod.ru/papers/fr-absol.pdf>

С.Сказкин. Старый порядок во Франции

История в источниках. Пособие для практических занятий

<http://narod.ru/disk/13111578000/skazkin.pdf.html>

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

XVIII век выдвинул целый ряд блестящих буржуазных философов, экономистов, публицистов и государственных деятелей. В этом ряду занимает одно из видных мест знаменитый французский экономист, примыкавший к физиократам, Анн Роберт Жак Тюрго (1727—1781 гг.).

Теоретическая и практическая деятельность Тюрго оставила глубокий след в истории буржуазного общества. С его именем связана упорная борьба против феодальных кругов за проведение экономических и административных реформ, открывающих путь к развитию капитализма во Франции. Будучи на посту министра, Тюрго добивается отмены цехов в промышленности, замены натуральной дорожной повинности денежным налогом, реформ почтовой перевозки, отмены особых преимуществ виноторговцев, устранения финансовых злоупотреблений, подготовки и проведения ряда других важнейших постановлений и проектов. С его именем связаны смелые идеи о веротерпимости, о предпочтении светского образования перед духовным, о выкупе сеньориальных прав, о реформировании всего административно-феодального строя Франции.

Разносторонняя энергичная государственная деятельность Тюрго была встречена широкими торгово-промышленными кругами и интеллигенцией с восхищением и похвалой. Большие надежды возлагали на него крупнейшие деятели французского просвещения — Вольтер, Даламбер, Кондорсэ. По поводу государственной деятельности Тюрго Даламбер восторженно писал немецкому королю Фридриху II: „Если хорошего результата не будет, необходимо заключить только, что хорошее вообще невозможно“.

В условиях прогнившего феодального режима, господствовавшего во Франции до революции 1789 г., осуществленные

и намеченные Тюрго реформы, несомненно, имели прогрессивное значение. Отмечая положительный характер экономических мероприятий Тюрго, Маркс писал „Тюрго пытался провести те мероприятия, которые впоследствии осуществила французская революция“.

Намеченный Тюрго план широких экономических преобразований не удалось провести в жизнь. Его стремление преобразовать мирным путем государственный строй в духе требований буржуазии натолкнулось на решительное противодействие придворных клик дворянства и духовенства. В результате острого конфликта с ними Тюрго подает в отставку и больше не возвращается к государственной деятельности.

С именем Тюрго связана не только радикальная буржуазная деятельность на постах интенданта, морского министра и генерального контролера, — Тюрго оставил неизгладимый след и в истории политико-экономических учений. Примыкая к физиократам, Тюрго наиболее самостоятельно исследовал экономические вопросы. По утверждению Маркса, у него мы находим физиократическое учение в самом развитом его виде“.

Физиократы (Кенэ, Мирабо Старший и др.) утверждали, что производительным трудом является только сельскохозяйственный труд. На этом основании они требовали введения целой системы поощрительных мер для сельского хозяйства, причем особо подчеркивали выгоду крупных сельскохозяйственных ферм. Кенэ рекомендовал крупным земельным собственникам делать возможно больше затрат на землю, не дробить земельные участки, лучше обрабатывать их. Земля с точки зрения физиократов являлась единственным источником народного богатства.

Тюрго, примыкая к физиократическому учению, не превращал, однако, его основные принципы в непогрешимые догматы. В отличие от Кенэ он считал, что всякая затрата капитала не только в сельскохозяйственном производстве, но и в промышленности и в торговле способна производить накопления, образовывать прибыль. Этот взгляд устранял „обманчивое представление“ физиократов, полагавших, что земледелие является единственной отраслью производства, в которой возможно развитие капитализма. „У тех физиократов, — писал Маркс, — которые обладали более широким умом, особенно

у Тюрго, это обманчивое представление совершенно исчезает, физиократическая система является у них выражением нового капиталистического общества, пробивающего себе дорогу в рамках феодализма".

Тюрго значительно глубже проник в сущность нарождавшихся капиталистических отношений, чем его современники физиократы. Он внёс корректив в существовавшее у физиократов классовое деление общества, определил капитал как совокупность средств производства, дал развернутую теорию прибыли и пр. Словом, Тюрго гораздо шире раздвинул узкие рамки физиократического учения, внося в него требования нарождавшегося капиталистического общества. Наибольшей известностью пользуются его следующие политико-экономические работы „Размышления об образовании и распределении богатств“ (1766 г.), „Мемуар о муниципалитетах“ (1775 г.), „Письма о веротерпимости“ (1753 г)

Тюрго известен не только как экономист и государственный деятель, но и как крупный мыслитель. Не будучи философом по призванию, он принимал активное участие в борьбе французского материализма против идеализма. Он находился под сильным влиянием бурного роста естественных наук, открытий и изобретений. Он горячо сочувствовал инициаторам издания „Энциклопедии“ (Дидро, Даламбер и др.). Им было написано для „Энциклопедии“ пять статей „существование“, „этимология“, „расширяемость“, „ярмарка“, „вклад“. Тюрго решительно выступал против идеалистической системы Беркли. В „Письме к аббату Сисэ старшему“, развивая сенсуализм Локка в материалистическом направлении, он доказывал, что наши ощущения возбуждают в нас веру в реальность внешних предметов. Размышляя о причине восприятия нами внешних предметов, он приходил к следующему выводу „... Вне меня существуют тела, которые беспрестанно посылают лучи, которые доходят до моего глаза, в нем преломляются, скрещиваются и, ударяя в различных точках на сетчатку, передают душе ощущение, которое она относит к концам этих лучей“.

Предлагаемое решение, несомненно, носит материалистический характер. В яркой статье „Существование“ он также дает материалистическое решение целому ряду поднятых здесь вопросов. Однако Тюрго не был таким же материалистом, как Дидро, Гольбах и др. Он не разделял полностью всех

воззрений своих великих современников материалистов. Тюрго сохранил в своем мировоззрении бога как творца мира.

Признавая внешний мир развивающимся, он в то же время не выходил за пределы метафизического взгляда на действительность. Тюрго, так же как и французские материалисты, не умел правильно решить вопрос о соотношении чувственного и логического в познании внешнего мира.

Несравненно больше заслуга Тюрго в исследовании общественной жизни. Для социологической концепции Тюрго характерны следующие три момента: 1) развитие общества он ставит в связь с развитием форм хозяйственной жизни; 2) переход от одного вида деятельности человека к другому он неизменно связывает с ростом активности и свободы; 3) прогресс человечества совершеняется, по Тюрго, не прямолинейно, а зигзагообразно, через непрерывную борьбу истины с заблуждениями и ошибками человеческого рода.

Говоря об искусствах (рисовании, скульптуре, живописи), он возвышался до мысли о том, что их прогресс определяется состоянием форм производства. Тюрго писал: „Все эти искусства много зависят от различного состояния людей — охотничьего, пастушеского и земледельческого. В последнем состоянии люди, имея возможность образовывать многочисленное население и более нуждаясь для ведения своего хозяйства в положительных знаниях, должны были неминуемо делать гораздо большие успехи“. Тюрго возражал против взглядов, приписывающих решающее влияние климата на состояние культуры. Теория, объясняющая развитие цивилизации влиянием климата, по его мнению, низводит человечество до пассивного фактора, лишая его активности и свободы.

Однако, материалистические элементы, которые встречаются в его работах, представляют собой лишь отдельные высказывания о тех или иных явлениях общественной жизни.

В понимании общественных явлений Тюрго оставался идеалистом. По его мнению, немислим поступательный ход истории без участия „бурных и опасных страстей“. В противном случае человечеству грозит застой, „закрепление в изначальном состоянии“. Поэтому заблуждения, страсти, различные моральные факторы не только не препятствуют прогрессу, но являются необходимым орудием человеческого прогресса.

Тюрго являлся одним из вернейших и преданнейших ору-

женосцев французской буржуазии XVIII в. Вся его теоретическая и практическая деятельность явилась выражением зрелости и способности буржуазии на политическое господство. Маркс, отвергая взгляды, превращавшие Тюрго в сторонника коммунизма, указывал, что „Тюрго был великим человеком, ибо он соответствовал своему времени“.

Таков в кратких чертах идеологический и политический облик Тюрго.

Из помещаемых в настоящем сборнике работ Тюрго две статьи „Последовательные успехи человеческого разума“ и „Рассуждение о всеобщей истории“ были опубликованы издательством Брокгауз и Эфрон, СПб, 1910—1912 гг. под общим заглавием „Родоначальники позитивизма“. Остальные работы Тюрго публикуются впервые.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТРУДЕ МОПЕРТЮИ

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЯЗЫКОВ И О ЗНАЧЕНИИ СЛОВ

Март, 1750

I. Знаки, которыми люди обозначали свои первые идеи, оказывают столько влияния на все наши знания, что, я думаю, исследования о происхождении языков и о способе их образования заслуживают столько же внимания и могут быть так же полезны в изучении философии, как и другие методы, которые строят часто системы на словах, смысл которых никогда не был изучен¹.

(Ответ.) На этот первый тезис я имею только два небольших замечания:

1. Много говорят об этом влиянии, но никто не дает о нем представления и не приводит примеров, а это как раз было бы самое полезное. Вот попутно один пример: имена, данные вещи, были даны всему тому, что на нее походило; отсюда начало делений на разряды; отсюда масса злоупотреблений в богословии, морали, метафизике, естественной истории, изящной литературе и т. д.; отсюда, может быть, зародился этот спор о комических различиях, а именно, заслуживают ли предметы это имя или нет. Бедные человеческие существа давали имена оптом; редко изображаются оттенки, и всякий отдельный предмет образуется и дифференцируется в общей массе. Подумайте, какие злоупотребления должны отсюда последовать!

2. Мне приходит в голову, что было бы весьма любопытно исследовать, каким образом человеческий разум строит

¹ Тезисы Мопертюи обозначены римскими цифрами, ответы Тюрго — арабскими цифрами или словом „ответ“. — *Примеч. перев.*

системы на словах, которые являются только словами; каким образом находят изобретательной ложную мысль; но я для этого не имею ни времени, ни желания, ни бумаги.

II. Достаточно ясно, что я не хочу здесь говорить о том, изучении языков, вся задача которого заключается в выяснении, что то, что называют *pain* (хлеб) во Франции, называется *bread* в Лондоне.

Многие языки являются точно переводами одни с других; выражения идей в них построены одним и тем же способом, поэтому сравнение таких языков между собой не может нас ничему научить. Но встречаются языки, в особенности у весьма отдаленных народов, которые как будто были образованы на связях идей, столь отличных от наших, что почти невозможно переводить на наши языки то, что было на них выражено. Сравнение этих языков с другими языками могло бы дать много полезного философскому уму.

1. Никакое изучение языка не может свестись к столь малому, и всегда имеется для изучения по крайней мере *спряжение* и *синтаксис*, и после этого изучения чувствуешь против своей воли, каков гений языка.

2. Вполне верно, что языки кажутся переводами одни с других, но в них все же чувствуется некоторое различие, в котором необходимо себе отдать отчет. Более того, один и тот же язык не совсем одинаков у различных авторов: разве Корнель и Лафонтен говорят на одном и том же языке? Еще менее должно быть сходство между *английским* и *французским* языками.

3. Эти связи идей, отличные от наших, являются изобретением г. Мопертюи. Всем народам свойственны одни и те же чувства, а идеи образуются посредством чувств. Так, мы видим, что сказки всех народов между собой весьма сходны; образцом для них являются люди.

4. Трудность перевода отнюдь не так велика, как ее изображает Мопертюи, и она происходит не от связи идей, отличных от наших, но от метафор, которые со временем смягчаются в просвещенном языке. Два несовершенных языка имеют между собой такое же сходство, как и два совершенных. Мне приходит в голову наглядное сравнение: на несовершенном языке скажут: *его поведение полно козых прыжков*, а мы скажем: *полно капризов*. Это одно и то же, одно происходит из другого, но побочная идея, как очень грубая, исчезла.

5. Тем не менее совершенно верно, что изучение языков других народов было бы очень полезно.

III. Это изучение важно не только вследствие влияния, оказываемого языками на наши знания, но еще потому, что в построении языков можно найти следы первых шагов человеческого разума. Благодаря этому, может быть, *жаргоны* наиболее диких народов могли бы быть для нас более полезны, чем языки народов, наиболее изощренных в искусстве говорить, и лучше научили бы нас истории нашего разума. Едва только мы появляемся на свет, мы слышим бесконечное количество слов, которые выражают скорее предрассудки людей, окружающих нас, чем первые идеи, рождающиеся в нашем уме; мы удерживаем эти слова, мы с ними связываем смутные идеи, и вот мы вскоре приобретаем запас слов на всю остальную нашу жизнь; и как это чаще всего бывает, мы не думаем доискиваться истинного значения слов, проверять реальные или мнимые знания, которые они нам дают.

1. Языки диких народов, конечно, могли бы нас лучше просветить относительно первых шагов, сделанных человеческим разумом. Но без этого они не совсем неизвестны: много *звукоподражательных* слов, названий, *чувствительных вещей*, наконец, *метафор* — вот три первые шага; ни одного правильного построения, много экспрессии, жестов, отвлеченных знаков, но и много телесных вещей. Некоторые полагают, что отвлеченные идеи появились у многих людей позже; я не сторонник этого взгляда; я в этом убедил аббата Трюблэ, и ниже я выскажу свои соображения. Но, чтобы познать наш разум, нужно было бы путем последовательных наблюдений настоящего выяснить, каким образом слова располагаются в нашей голове и каким образом *идеи* рождаются из *знаков*.

Что касается *смутных* идей, о которых говорит Мопертюи, я скажу:

2. Мы к словам не привязываем никакой идеи, но мы методически располагаем знаки, являющиеся для нас как бы нотной таблицей, которая нам служит для рассуждения. То, что называют *смутными* идеями, в действительности суть *отвлеченные* идеи. Вот мое рассуждение в двух словах: ничто не ассимилирует столько вещей, как невежество; деревья, рассматриваемые издали, суть только деревья. Посмотрите на художника, рисующего дали; он работает, как ум

небевды нет никаких различий — люди как люди, дома как дома. Вот все, и вот наши *смутные* идеи.

IV. Правда, исключая те языки, которые *кажутся* только переводами одни с других, все остальные были вначале простыми; они обязаны своим происхождением только людям простым и грубым, которые сначала образовали лишь небольшое количество знаков для выражения своих первых идей. Но вскоре одни идеи сочетались с другими идеями и умножались; количество слов умножилось, и часто сверх количества идей.

1. Если под простым языком Мопертюи понимает язык бедный словами, то он ошибается. Если же он иначе понимает, то он неправ, говоря, что первые языки были простыми.

2. Грубые люди не создают ничего простого; для этого нужны совершенные люди, и язык становится простым, лишь когда *слова суть чистые знаки*, чего не бывает вначале, когда *всякое слово метафора*, часто вынужденная.

3. Слова повторяются, но никогда не изобретаются без соответственной идеи или ощущения; в основе всегда идея.

V. Между тем новые выражения, которые были добавлены к первоначальным, много зависели от последних, служивших для них основанием; и отсюда произошло то, что в тех странах мира, где эти основания были одни и те же, умы совершили один и тот же путь и *науки* получили почти одинаковое направление.

1. Это пятое положение предполагает, что существуют различные основания; в действительности же основаниями всюду являются чувства.

2. Неверно, что одни и те же основания достаточны для достижения одинакового прогресса; языки содействуют прогрессу, но сами они его не порождают.

VI. Так как языки вышли из этой первичной простоты и как как в мире не найдется быть может ни одного достаточно дикого народа, способного нам помочь в отыскании чистой истины, которую каждое поколение затемняло; и так как, с другой стороны, первые моменты моего существования не смогут мне быть полезными в этом исследовании, ибо я полностью потерял память о моих первичных идеях, об удивлении, вызванном во мне зрелищем предметов, когда я впервые открыл глаза, и о первых суждениях, вынесенных мною в том возрасте, когда моя душа была более свободна от идей и, сле-

довательно, была более, чем теперь, доступна пониманию, ибо она была, так сказать, более *сама собой*; так как, говорю я, я лишен средств, могущих меня просветить, и так как я обязан получать бесконечное количество установленных выражений или, по крайней мере, ими пользоваться, — постараемся же узнать их смысл, силу и объем, поднимемся к началу языков и посмотрим, по каким ступеням они формировались.

1. Мопертюи неизменно полагает, что именно дикие языки должны нас просветить о природе нашего разума: выше я уже сказал, что нужно было бы сделать при существующем положении вещей.

2. Я не понимаю, что значит *душа, свободная от идей*, и еще менее, каким образом она может себя *познать* в таком состоянии. Мопертюи здесь является жертвой воображения; понятно, я лучше могу рассмотреть углы комнаты, свободной от мебели; но для того, чтобы душа могла на себя посмотреть, она должна иметь идеи; ничто, быть может, не предполагает наличия стольких идей, как самопознание.

3. Во всем своем труде Мопертюи не говорит ничего о том, что служит для познания смысла и силы слов; между тем только последовательными наблюдениями над различным употреблением слов можно найти их настоящий смысл или, по крайней мере, их бесценность.

VII. Я предполагаю, что с теми же способностями замечать и рассуждать, которыми я обладаю, я потерял бы память о всех полученных мною до сих пор восприятиях и о всех сделанных мною рассуждениях; что после сна, заставившего меня все забыть, я вдруг был бы достигнут случайными восприятиями, что мое первое восприятие было бы, например, такое, какое я получаю теперь, когда я говорю: *я вижу дерево*; что следующее мое восприятие было подобно тому, которое я получаю, когда говорю: *я вижу лошадь*. Как только я получал бы эти восприятия, я тотчас увидел бы, что они не похожи друг на друга, и старался бы их различить; а так как я не обладал бы еще сформированным языком, я бы их отличил некоторыми признаками и мог бы удовлетвориться выражениями А и В для тех же вещей, которые я понимаю теперь, когда говорю: *я вижу дерево, я вижу лошадь*. Получая затем новые восприятия, я мог бы их всех обозначать таким образом, а когда я, например, сказал бы R, я

понимал бы то же самое, что я понимаю теперь, когда говорю: *я вижу море*.

1. Это предположение смехотворно; способность замечать существует только через восприятия и может быть обусловлена знаками; по крайней мере, безусловно верно, что человек, каков он есть теперь, нуждается в знаках для рассуждения.

2. Одиноким человек, таков, как его предполагает здесь Мопертюи, не пытался бы искать признаков, чтобы обозначать свои восприятия: только в присутствии других людей человек ищет такие признаки.

3. Отсюда вытекает — и это, впрочем, ясно, — что первый рисунок речи и первый ее шаг направлены к выражению только предметов, а не восприятий, второй рисунок приходит в ум, лишь когда в хладнокровном осмысливании восприятие становится предметом восприятия. Это покажется тем более очевидным, если принять во внимание, что наши первые идеи суть ощущения и что в силу естественного действия ощущений мы их быстро относим к внешним предметам.

Это наблюдение опрокидывает почти весь труд Мопертюи, но я имею в виду еще по этому поводу другие замечания.

VIII. Но между большим числом восприятий, из коих каждое имело бы свой знак, я вскоре затруднялся бы отличить, к какому восприятию принадлежит каждый знак, и пришлось бы прибегнуть к помощи другой речи. Я заметил бы, что некоторые восприятия имеют нечто подобное и один и тот же способ воздействия на меня, то, что я мог бы понять под одним и тем же знаком. Например, в предыдущих восприятиях я заметил бы, что каждое из двух первых имеет некоторые одинаковые черты и что я мог бы их обозначать общим знаком; я заменил бы, таким образом, мои первые выражения А и В выражениями CD, CE, которые отличались бы от первых только новой условностью и соответствовали бы восприятиям, получаемым мною теперь, когда я говорю: *я вижу дерево, я вижу лошадь*.

1. Мопертюи, который столько проповедует, что нужно подняться к первым шагам человеческого разума, предполагает здесь философа, который образует речь хладнокровно; это значит всюду вносить дух системы. Каким образом хотите вы, чтобы я постигнул образование речи, родившейся в жару ощущения и являющейся почти вынужденным результа-

том актуального чувства, которое действовало в различные мгновения и без последствий?

2. Я не понимаю, каким образом можно было бы в разговорной речи заменять одни выражения другими, — это хорошо в кабинете. Я хорошо знаю, что Мопертюи все это рассматривает как предположение, но он будет очень искусным, если, оперируя с предположениями, противоречащими истине, он извлечет объяснение о начале языков.

IX. Поскольку подобные черты моих восприятий остались бы одними и теми же, я мог бы их обозначать одним знаком С; но я замечаю, что этот простой знак не может удовлетворять, когда я хочу обозначить восприятия: *я вижу двух львов, трех ворон*; и что для того, чтобы в этих восприятиях обозначать тем же знаком только то, что в них полностью подобно, нужно эти знаки разделить и увеличить число их частей.

Таким образом, я помечу эти два восприятия: *я вижу двух львов, я вижу трех ворон* через CGH и CJK и приобрету знаки для частей этих восприятий. Последние могли бы войти в сравнение со знаками, которыми я буду пользоваться для выражения других восприятий, которые будут иметь части, подобные частям двух предыдущих восприятий.

(О т в е т.) Девятый тезис является только пересказом восьмого, поэтому содержит те же недостатки.

X. Буквы Н и К, соответствующие *львам* и *воронам*, будут достаточны лишь постольку, поскольку мне не придется делать описаний *львов* и *ворон*, ибо если я хочу анализировать эти части восприятий, мне нужно будет еще подразделять знаки.

(О т в е т.) Ничего не имею сказать по поводу этого десятого тезиса.

XI. Но буква С, отвечающая восприятию *я вижу*, будет сохранена во всех восприятиях этого рода, и я ее заменю только, когда мне придется обозначать совершенно отличные восприятия, как следующие: *я слышу звуки, я нюхаю цветы* и т. д.

(О т в е т.) Если бы я хотел сделать Мопертюи каверзу, я бы ему сказал, что буква С могла бы означать только восприятие вообще и сохраниться вечно как для *я вижу*, так и для *я слышу*; отсюда родилась бы не только ложность, но и удивительная неточность речи и можно держать пари, что я

языках, наиболее просвещенных, есть много смутных слов для весьма различных вещей; говорят: *я имею голод, я имею жажду*¹; почему не говорим: *я имею звук, я имею цвет* или что-нибудь подобное; голод и жажда являются, может быть, как это заметил Монтэнь, двумя чувствами, но к несчастью, они не имеют особых наименований, связанных с родом их ощущения.

Другой пример: *dixi* по-латыни обозначает прошедшее: я сказал (*j'ai dit*) и прошедшее неопределенное время *je dis*.

Пожалуй, хватит. Я не имею достаточно храбрости, чтобы делать другие изыскания.

XII. Так образовались языки; и так как языки, однажды сформированные, могут вводить во многие ошибки и искажать все наши знания, то является делом чрезвычайной важности хорошо знать начало первых предложений, чем они были до установления языков или чем они могли бы быть, если бы были установлены другие наречия. То, что мы называем нашими знаниями, столь тесно связано со способами, которыми пользовались для обозначения восприятий, что мне кажется, вопросы и предложения были бы совсем различные, если бы были установлены другие выражения для тех же восприятий.

1. Весьма вероятно, что до установления наречий не было никакого предложения; все наши идеи должны были быть ощущениями или картинами воображения.

2. Если бы были установлены другие наречия, то они были бы основаны на чувствах; таким образом, предложения были бы почти одни и те же и все различия состояли бы в их разлитии.

3. Если бы, однако, первые выражения относились к одному чувству более, чем к другому (например, ко вкусу более, чем к зрению, от которого теперь зависят многие выражения других чувств), это привело бы к различной метафизике, и, я полагаю, в случае, когда мы имеем дело со вкусом, она была бы согласно всем показателям более темной и менее детализированной, подобно впечатлениям вкуса.

XIII. Мне кажется, что люди никогда не создали бы ни вопросов, ни предложений, если бы они держались первых простых выражений А, В, С, D и т. д., если бы память была достаточно сильна, чтобы иметь возможность обозначать каж-

дое восприятие простым знаком и удерживать каждый знак, не смешивая его с другим. Мне кажется, что ни один вопрос из тех, которые теперь нас столько затрудняют, не вошел бы даже в наш ум и что по этому поводу более, чем по всякому другому, можно сказать, что *память противодействует суждению*.

После того как мы, как это было нами сказано, составили выражения различных частей, мы не признали нашу работу: мы приняли каждую из частей выражений за вещи, мы сочетали вещи между собой, чтобы здесь открыть отношения согласия и противодействия, и отсюда зародилось то, что мы называем нашими знаниями.

Мы предположим на минуту народ, который имел бы лишь очень небольшое число восприятий, позволяющее их выразить простыми буквами; можем ли мы себе представить, чтобы такие люди могли иметь какую бы то ни было идею об интересующих нас вопросах и предложениях. И хотя дикие и лапландцы не подходят для данного случая, так как они обладают гораздо большим числом идей, чем здесь предполагается, тем не менее их пример не доказывает ли он противное?

Вместо того чтобы предположить народ, число восприятий которого было бы столь ограничено, предположим другой, который имел бы столько же восприятий, сколько имеем мы, но который обладал бы достаточно обширной памятью, чтобы их все обозначать простыми знаками, независимыми один от другого, и который их в самом деле обозначил бы такими знаками: эти люди не были ли бы они в положении тех, о которых мы только что говорили?

Вот пример затруднений, в которые нас повергли установленные языки.

1. Эта острота Мопертюи дурного тона. Возможно ли держаться простых выражений? И когда восприятия об отношениях обозначали бы простыми выражениями, не было ли бы это все же суждением?

2. Вот что очень тонко; не очевидно ли, что, уменьшая число идей, вы уменьшаете вопросы; что касается того, что говорит Мопертюи, что мы наши восприятия приняли за вещи, то это иногда верно, но мы увидим ниже (тезисы XIV и XV), что Мопертюи неправ, когда слишком на этом настаивает.

3. Предположим, раз этого хочет Мопертюи, народ таким,

¹ Дословный перевод французских выражений: *j'ai faim, j'ai soif*.

каким он его здесь изображает; я поддерживаю, что он будет очень похожим на нас, он скажет *cogito*¹ вместо *ego sum cogitans*². Предположим, что вместо *cogito* он скажет А,— это все же будет суждение, которое сможет служить для рассуждения.

Я замечу еще, что идеи об отношениях или о связи всегда будут иметь родовой характер, который либо связан с самим знаком идеи, как в латинских склонениях, где различные окончания означают различные отношения, либо существует как в современных языках.

XIV. Так как в наименованиях, даваемых восприятиям во время установления наших языков, большое количество простых знаков далеко превосходило объем памяти, что угрожало бы беспрестанно путаницей, то частям, чаще встречавшимся в восприятиях, были даны общие знаки, а другим частям— частные знаки; последние можно было использовать во всех знаках, составленных из выражений, в которые входили эти самые части: благодаря этому избегали умножения простых знаков. Когда приступили к анализу восприятий, то заметили, что некоторые части являются общими для многих и повторяются чаще, чем другие; тогда стали рассматривать первые как содержание, без которых последние не могли существовать. Например, заметили, что в той части восприятий, которую я называю *дерево*, находится что-то общее с *лошадью*, со *львом*, с *вороной* и т. д., между тем как в этих различных восприятиях другие вещи между собой разнились.

Для части, однообразной в различных восприятиях, образовали общий знак и его рассматривали как *основание* или *содержание*, на которое опираются другие части восприятий, чаще всего соединенных с ними. В противовес этой однообразной части восприятий обозначали другие части, более подверженные изменению, другим общим знаком. Таким образом возникла идея *субстанции*, присваиваемая однообразной части восприятий, и идея *формы*, присваиваемая другим частям.

XV. Я не знаю, есть ли какое-либо другое различие между *субстанциями* и *формами*.

Философы хотели установить отличие в том, что первые могут познаваться сами по себе, а вторые для того, чтобы

быть понятыми, нуждаются в некоторой помощи. Они думали, что в выражении *дерево* часть восприятия, называемая *протяженностью* и имеющаяся также в выражениях *лошадь*, *лев* и т. д., может быть принята за *субстанцию*; и что другие части, как цвет, фигура и т. д., являющиеся различными в *дереве*, *лошади* и *льве*, должны рассматриваться только как формы. Но я хотел бы, чтобы был исследован следующий случай: если бы все имеющиеся в мире предметы были бы зелеными, то нельзя ли было бы на таком же основании принять сок растений за *субстанцию*.

1. В этих тезисах я сделаю критику почти всего продолжения труда. И то, что я скажу, я заимствую у аббата Трюбле. Идея *бытия* вообще, а не идея *субстанции* соответствует тому, что есть однообразного не в восприятиях, а в предметах; идея я является единственной однообразной вещью в восприятиях. Если бы люди образовали идею *субстанции*, как говорит Мопертюи, если бы они под субстанцией понимали однообразную часть восприятий, то они были бы *спинозистами*. В действительности имеет место как раз обратное, и идея субстанции предполагает определенное и особенное существование; сверх того, если бы люди всегда рассматривали свои восприятия, как делает здесь Мопертюи, независимо от их предметов, они никогда не имели бы идеи *субстанции*, или, скорее, она смешалась бы с чувством их собственного существования; но естественно склонные предполагать вне их самих предмет своих восприятий, они всеми своими чувствами и всеми рассуждениями, которые они могли сделать, базирясь на своих чувствах, были приведены к одному и тому же мнению. Так как я не считаю необходимым это доказывать, я вам изложу зарождение идеи субстанции, как я ее понимаю.

Так как многие восприятия одного и того же предмета различны между собою и так как, однако, эти различия кажутся происходящими от изменения независимого от нас предмета, то поняли, что существующий вне нас предмет может получить некоторые изменения: люди в силу естественной метафоры называли предмет *субстанцией*, *субъектом*, *субстратом* и т. д., а изменения, происшедшие с предметом, называли по этой самой причине случаями или, благодаря тому, что они определяли известное состояние предмета, *качествами*, *формами*, *способами существования*.

¹ Мысль.

² Я мыслящий.

Отсюда различные вопросы о субстанциях, которые нужно тщательно различать; спрашивают, например, о дереве, является ли оно *субстанцией* или *формой*? Предполагая существование предметов вне нас, мы рассматриваем предмет в целом, и мы не ошибемся, отвечая, что дерево есть субстанция, ибо слово „субстанция“—это название, данное людьми предмету, который существует вне их и к которому относятся их различные восприятия. Все люди с этим согласны, и Спиноза только изменил значение слов: он создал скорее новый язык, чем новую систему.

Задают другой вопрос, более трудный, спрашивая, что является в таком-то предмете *субстанцией*, что есть то, что существует независимо от всех изменений? Ответ на этот вопрос, зависящий от большего или меньшего объема знаний, которые имели люди относительно самого предмета, был разный в зависимости от состояния просвещения. Вскоре заметили, что *фигура*, *цвет* не являются субстанциями и, если бы даже цвет был один и тот же во всех телах, осознание убедило бы нас в том, что можно отделить идею тела от идеи цвета. Картезианцы, видя, что тела нельзя лишать протяженности, заключили, что субстанция тел состоит в протяженности. Но является ли протяженность субстанцией или, как хотят *лейбницианцы*, не есть ли она сама результат многих субстанций? И в силу чего *монады* суть субстанций? Это именно то, чего мы не можем знать, не зная природы вещей. Но увы! Нам известны только ее отношения. Пожелать сказать еще что-нибудь—значит смзшать пределы нашего ума с пределами природы.

XVI Если говорят, что можно отнимать у дерева его сок и что нельзя его лишать протяженности, я отвечу, что это происходит оттого, что в установленном языке условлено называть *деревом* то, что имеет известную фигуру независимо от его сока. Но если бы язык имел совершенно отличное слово для выражения дерева без сока и без листьев и если бы слово „*дерево*“ было по необходимости привязано к слову „сок“, то отнимать у него сок было бы так же невозможно, как и протяженность.

Если бы восприятие, которое я имею о дереве, было вполне закреплено и ограничено, то из него нельзя было бы ничего убавлять без того, чтобы его не разрушить. Если оно состоит только из *протяженности* *фигуры* и *сока* то, если

я отнимаю у него сок, фигуру, останется смутное восприятие о протяженности, но не мог ли бы я путем подобных абстракций лишать *дерево* *протяженности* и *фигуры* и не осталась ли бы все же неясная идея *сока*?

1. Этот ответ искусен, но неверен. Наши чувства всегда будут сильнее наших абстракций.

2. Правда, к полному понятию нельзя ни добавлять, ни отнимать от него, но всякая *идея* не является *понятием*.

XVII. Ничто более не способно утвердить меня в сомнениях по выдвинутым мною здесь вопросам, как зрелище того, что люди продолжают спорить о том, что они называют *субстанцией* и *формой*. Спросите тех, кто не посещал школ, и вы увидите, в каком затруднении они окажутся, когда им предложат отличить то, что является *формой*, от того, что есть *субстанция*, если это отличие должно быть основано на природе вещей.

(Ответ.) Затруднение светских людей меня не удивило бы и ничего не доказало бы. Спросите их, что такое *деньги*; они будут в таком же затруднении, но я уверен, что, помогая им выражаться, можно убедиться, что они имеют идею о *субстанции*, какую я дал выше.

XVIII. Но если отбросить суждения этого рода лиц,—и как же что мне не кажется очень разумным в данном случае, где нужно скорее выявить мнения тех, кто не примкнул ни к какой доктрине, чем тех, кто уже стал сторонником системы,—и обратиться к философам, то увидим, что у них нет согласия относительно того, что нужно принимать за *субстанцию* и что за *форму*. Одни принимают *пространство* за субстанцию и считают, что можно его познавать независимо от материи; другие видят в нем только *форму* и считают, что оно не могло бы существовать без материи. Одни рассматривают *мысль* лишь как форму некоей другой *субстанции*, другие принимают ее за самое *субстанцию*.

1. Мопертюи здесь рассуждает, как светский человек, который из несогласия ученых заключает о невозможности между ними согласия.

2. То, что говорит здесь Мопертюи, доказывает, что философы не могут указать, *где находится субстанция*, потому что ввиду ограниченности нашего разума это, действительно, очень трудно, но следует ли из этого, что все философы не знают, что является *субстанцией* и что ею не

Впрочем, часто случается, что наиболее ясная вещь является туманной, когда начинаешь доискиваться ее начала.

XIX. Если среди людей одной и той же страны, которые в течение долгого времени рассуждали вместе, находим столь различные идеи, то что было бы, если бы мы перенесли к весьма отдаленным народам, ученые которых никогда не имели сношений с нашими и первые люди которых строили свой язык на других принципах.

Я убежден, что если бы мы вдруг начали говорить на общем языке, на который каждый хотел бы переводить свои идеи, то с одной и с другой стороны находили бы весьма странные рассуждения или скорее несколько не могли бы объясниться. Я, однако, не думаю, что различие их философии происходит от какого-то различия в их первых восприятиях; но, я думаю, что оно происходит из привычной речи каждого народа, из назначения знаков для различных частей восприятий — назначения, в которое входит много произвола и которое первые люди могли сделать различными способами; но раз сделанное таким или иным образом оно отразилось на том или ином предложении и оказывает непрерывное влияние на все наши знания.

1. (Отв.ет.) Мопертюи постоянно предполагает языки, построенные на других принципах, между тем ниже он соглашается, что различия не могло быть в первых восприятиях, которые в действительности не могут быть различными, поскольку они исходят из чувств.

Его мысль об общем языке, на который каждый перевел бы свои идеи, изобретательна, но я думаю, что в результате получилось бы меньше странных рассуждений, чем странных выражений, и вот почему: так как первые восприятия были всюду одни и те же, то различие могло бы быть только в метафорах, выведенных из различий наших чувств, и это то, что дало бы значительный эффект, в особенностях в выражениях чистого ума и развлечения; но для целей рассуждения люди всегда были бы в состоянии оценить справедливое значение метафор. Я не имею времени пространно объяснить примерами.

2. Верно, что языки, раз образовавшиеся известными способами, наводят на след одних знаний скорее, чем других. Но не думайте в духе Мопертюи, что это должно было бы привести к знаниям, противоположным тем, которые мы имеем

сейчас. Так, язык, в котором знаки, изображающие числа, коротки и могут составлять часть самих себя, как это имеет место теперь, приводит к современной арифметике, в то время как можно смело сказать, что народ, который для выражения числа *три* имеет *семнадцать* слогов, нескоро придет к выражению *ста*. Он, однако, будет иметь такую же идею, как и мы о числе *три*.

XX. Вернемся к тому, на чем я остановился, — к образованию моих первых понятий. Я уже установил знаки для моих восприятий, я уже имею язык, изобрел слова общие и частные, откуда зародились роды, виды и индивиды. Мы видели, как различия, находившиеся в частях моих восприятий, заставили меня изменять мои простые выражения А и В, соответствовавшие сначала выражениям *я вижу дерево*, *я вижу лошадь*, и как я пришел к более сложным знакам CD, CE, одна часть которых, отвечавшая на *я вижу*, осталась одной и той же в обоих предложениях, между тем как изменились две части, выраженные через D и E, соответствующие выражениям *дерево* и *лошадь*. Я еще более усложнил мои знаки, когда нужно было выразить более различные восприятия, как: *я вижу двух львов*, *я вижу трех ворон*; для этих двух восприятий мои знаки приняли вид CGH и CJK; наконец, мы видим, как потребность заставила меня разложить и складывать знаки моих первых восприятий и начать формирование языка.

XXI. Но я замечаю, что некоторые восприятия, вместо того чтобы различаться всеми своими частями, отличаются только некоторым ослаблением восприятия целого; эти восприятия мне кажутся только изображениями других; и тогда вместо того, чтобы сказать CD — *я вижу дерево*, я мог бы сказать *cd* — *я видел дерево*.

XXII. Хотя два восприятия кажутся одинаковыми, одно иногда соединено с другими восприятиями, которые меня побуждают еще менять их выражение. Если, например, восприятие *cd* — *я видел дерево* присоединено к другим — *я нахожусь в моей постели*, *я спал* и т. д., — эти восприятия заставят меня изменить мое выражение *cd* — *я видел дерево* — в *js* — *мне снилось дерево*.

XXIII. Все эти восприятия так сильно друг на друга похожи, что они кажутся отличающимися между собою только большей или меньшей силой; и я думаю, что они являются

только оттенками одного и того же восприятия или соединениями нескольких других восприятий, заставляющих меня говорить: *я вижу дерево, я думаю о дереве, мне снилось дерево* и т. д.

(Ответ.) Я сказал уже раньше все то, что нужно сказать о тезисах XX, XXI, XXII, XXIII.

Вместо замечаний я позволю себе высказать несколько идей о начале языков, об их развитии и об их влиянии; я пойду быстрее природы, но буду стараться идти по ее следу.

Языки отнюдь не являются произведением ума, предоставленного самому себе.

Первичный язык — это крик в состоянии возбуждения с жестом, указывающим на предмет.

Спокойный зритель, чтобы вспомнить то, что он видел, подражал звуку, который издавал предмет, вот первые немногие членораздельные слова.

Несколько слов для обрисовки вещей и несколько жестов, соответствовавших нашим глаголам, — вот один из первых шагов. Часто давали видимым вещам в качестве наименования слово, аналогичное крику, который порождало чувство о вещи. Лейбниц думал, что именно таким образом Адам дал наименования животным.

Соответственно тому, что одно чувство было более испытано или более потворствовалось, чем другое, что один предмет был более привычным или более поражающим, чем другой, они становились источником метафор. Зарождались ли метафоры в силу потребности или вследствие ленности мысли, ясно одно, что первые успехи языков совершились именно этим путем. Что касается меня, то я полагаю, что первые метафоры зародились оттого, что в нашем мозгу *новое* изображается *старым* и что старое является в некотором роде началом нового, ибо метафоры вначале составляли все основание языка и потому, что метафоры должны были, смотря по обстоятельствам, зародиться от одного чувства скорее, чем из другого, из одного предмета скорее, чем из другого.

Отсюда произошли различные языки, смотря по тому, был ли народ охотничьим, пастушеским или сельскохозяйственным, и в соответствии со зрелищем, которое представляла страна.

Охотник должен был иметь мало слов, но очень живых и мало связных; успехи языка должны были быть у него

медленными; пастух, пребывавший в покое, должен был образовать речь более мягкую, более гладкую, земледелец — более холодную и более последовательную. Смешение различных народов породило *синонимы*, но, так как ни один народ не брал предмет в одних и тех же обстоятельствах и одним и тем же образом, эти синонимы не были таковыми в совершенстве.

Только по прошествии длительного времени аналогия могла установиться, ибо требовалось время, чтобы почувствовать сходство случаев, о которых говорилось. Эта аналогия способствовала исчезновению многих *звукоподражательных слов* и *метафор*: первые исчезли, когда установились подобные окончания слов, и метафоры также должны были исчезнуть вследствие заимствования или благодаря долгому употреблению.

Вот пока все.

XXIV. Но я испытываю восприятие, состоящее из повторения предыдущих восприятий и из ассоциации некоторых обстоятельств, придающих ему силу и как будто больше реальности. Я имею восприятие *я видел дерево*, соединенное с восприятием *я был в известном месте*; или *я вернулся в это место, я увидел это дерево*; или *я еще раз вернулся в то самое место, я увидел то самое дерево* и т. д. Это повторение и обстоятельства, его повторяющие, образуют новое восприятие *я увижу дерево каждый раз, когда пойду в это место*, наконец, восприятие *есть дерево*.

1. Что понимает Мопертюи под словами „давать больше реальности“. С помощью этой двусмысленности он сочиняет много софизмов.

2. Это новое рассуждение, а отнюдь не новое восприятие. Речь идет о том, чтобы увидеть, насколько это рассуждение хорошо, и я полагаю, что это так, когда впечатления, производимые на нас предметами, кажутся исходящими из общего центра, когда, следуя за ними до их начала, доходишь до общей причины. Тогда есть основание ее полагать вне нас: таково осознание, которое ощущает благодаря сопротивлению предмета движениям нашего тела, таково зрение, происходящее от отражения света на поверхности тел. Этот ряд восприятий от одного и того же предмета, в разное время и при различных обстоятельствах, сходства и различия которых одинаково кажутся основанными на существовании пред-

мета всегда одного и того же или в различных состояниях,— все это доказывает существование предмета; и жесты, о которых я говорил выше, доказывают, что естественно мы говорим: вот предмет вне нас, источник наших ощущений.

3. Я не вижу, каким образом Мопертюи мог себе вообразить, что идея *есть дерево* происходит от идей, которые он приводит. Вполне верно, что именно так доказывается существование тел, но отнюдь не так могла родиться сильная идея, которую мы имеем об их существовании: идея, рожденная из рассуждения, не несет собой степень чувства, побуждающего нас сказать: вот тело.

Вышесказанное достаточно опровергает содержание XXV тезиса Мопертюи. Это только маленький софизм, и я смело поддерживаю, что если бы даже я видел каждый предмет только один раз, предложение *есть* могло бы казаться сомнительным моему рассудку, но таковым не будет предложение, сильнее выраженное путем увлекающего ощущения.

XXV. Это последнее восприятие переносит, так сказать, свою реальность на свой предмет и образует предложение о существовании дерева, как не зависящего от меня. Однако понадобится, может быть, много труда, чтобы в нем открыть нечто больше того, что было в предыдущих предложениях, которые являлись только знаками моих восприятий. Если бы я никогда не имел более одного раза каждое восприятие *я вижу дерево*, *я вижу лошадь*, как бы живы ни были эти восприятия, я не знаю, мог ли бы я когда-либо образовать понятие *есть*; если бы моя память была достаточно обширна, чтобы не опасаться умножать знаки моих восприятий, и если бы я для каждого придерживался простых выражений А, В, С, D и т. д., я никогда не пришел бы к предложению *есть*, хотя бы я имел все те же восприятия, которые меня побуждали это предложение произносить. Не является ли это предложение только сокращенным выражением всех восприятий: *я вижу, я видел, я увижу* и т. д.

1. Мопертюи предполагает всюду, что мы ищем слово для наших восприятий. Напротив, мы в особенности стремимся выразить именно *вещи*.

2. Я нахожу его вопрос очень ловким, но, условившись, что говорим только о системе,— а это может быть,— я скажу смело, что всякий, кто следовал за природой, почувствует, насколько это ложно.

XXVI. В обыкновенной речи говорят: *есть звуки*. Большинство людей представляют себе звуки как нечто существующее независимо от них. Между тем философы заметили, что все, в чем выражается существование звуков вне нас, является только известным движением воздуха, вызываемым колебаниями звучащих тел и передаваемым до нашего уха. В том же, что я ощущаю, когда я говорю: *я слышу звуки*, мое восприятие, конечно, не имеет никакого сходства с тем, что происходит вне меня с движением колеблющегося тела. Вот восприятие, которое того же рода, как и восприятие *я вижу*, и которое вне меня не имеет никакого подобного ему предмета. Не находится ли в том же положении восприятие *я вижу дерево*. Хотя я мог, может быть, дальше проследить то, что происходит в этом восприятии, хотя опыты оптики говорят мне, что изображение дерева рисуется на моей сетине,— ни это изображение, ни это дерево не похожи на мое восприятие.

(Ответ.) Вот тезис, в котором Мопертюи обнаруживает наиболее тонкости, и, если я не ошибаюсь, здесь мы имеем наиболее искусный способ выдвигать столь известное в школах возражение: „Чувствительные качества не находятся в телах, хотя мы их к ним относим, следовательно, тела могут не существовать, хотя...“ и т. д.

Но я осмелюсь сказать, что это возражение очень слабое, а вот мой довод: даже наша ошибка, заключающаяся в том, что мы относим чувствительные качества к внешним предметам, является доказательством реальности внешнего предмета в силу вышеуказанных соображений (примечание к тезису XXIV).

Чтобы полностью ответить на возражение, я говорю: первых, есть ощущения, которые мы не относим к внешним предметам, но к нашему телу; другие ощущения нашего тела, которые мы относим к внешним предметам; наконец, третьи относим как к телу, так и к внешним предметам. Чем вызывается это различие? Вот чем: оно основано на существовании тел, ибо все эти различия (различия всегда однообразны) не были ли бы они ребяческой игрой со стороны божества, если бы существовала только моя душа?

Во-вторых, все эти различия относятся к сохранению или к увеселению нашей жизни; они имеют нечто постоянное, которое может нам служить правилом, по крайней мере в

в соединении этой двойной задачи — сохранения и увеселений жизни.

В-третьих, я хотел бы, чтобы Мопертюи обратил внимание на то, что люди, наиболее невежественные, не привязывают к идею к предложению *есть звуки, цвета* и к предложению *есть тела*. Крестьянин не сможет объяснить различие, но он чувствует, я это испытал, что в одном больше реальности, чем в другом, и он убедится, что *звук* только действие, а не реальное *тело*, что *цвет*, внешнее состояние тела, тоже действие. Вот и все.

И, наконец, если Мопертюи хочет быть добросовестным, он не может не видеть, что его способ рассуждения является софистическим в том, что он сравнивает только восприятия, между тем как нужно сравнивать действие этих восприятий на наш ум — действие, которое не одно и то же, когда я говорю, *я слышу звуки, я вижу дерево*.

Прежде чем кончить, я хочу сделать еще одно замечание как только мы в состоянии принимать ощущения, мы должны принять их целый ряд; этот ряд мы относим к порождающим их предметам и вот почему: оставляя в стороне природу ощущений (о которой Буйе (Bouiller) сказал много хороших вещей в своем втором томе), ясно, что они являются следствием, которое не указывает своего *как*, но которое, однако, к нашему счастью, должно было указать свою причину и орган (по крайней мере, иногда), на который было произведено действие; а в этом предположении, являющемся не единственным, мы должны были всюду поместить само следствие, ибо иначе нам понадобилось бы все вместе и *ощущение* и *идея* и *как*, дабы не относить вне только *как*; а чтобы это выполнить, мы должны были быть с колыбели сильными философами.

Все, что я сказал, в соединении с тем, что мною сказано в других местах, кажется, устраняет возражение Мопертюи.

XXVII. Скажут, может быть, что есть известные восприятия, приходящие к нам различными способами. восприятие *я вижу дерево*, обязанное моему зрению, подтверждается еще моим осязанием. Но хотя осязание, кажется, согласуется со зрением во многих случаях, если хорошо исследовать вопрос, тем не менее, убеждаемся, что только в силу своего рода привычки одно из этих чувств может подтвер-

дить восприятия, получаемые посредством другого способа. Если вы никогда не притрагивались к тому, что вы видели, и если вы потрогали предмет в темную ночь или с закрытыми глазами, то вы не сможете признать, что это один и тот же предмет; два предложения — *я вижу дерево, я осязаю дерево*, — которые я выражу теперь знаками CD и PQ, могли бы быть выражены только знаками CD и PQ, которые не имели бы никакой общей части и были бы совершенно различны. То же самое можно сказать о восприятиях, которые казались бы подтвержденными большим количеством способов.

1. Правда, хорошо замечено, что часто одно чувство подтверждает другое в силу привычки; но это не общее явление, а говорить — *есть предрассудки*, поэтому все предрассудки — значит плохо рассуждать.

Я не могу себе отказать в удовольствии сделать замечание о привидениях, призраках и т. д.

Можно было бы хорошо объяснить положение, говоря *одно чувство подтверждает другое по привычке* и часто чувство подтверждается само собой.

2 Мопертюи здесь рассуждает о принципе Локка, что осязание не могло бы отличить *шара* от *квадрата* после глаза и таким же способом, как глаз, но этот принцип ложный и сугубо ложный. Чтобы это доказать, я удовлетворюсь тем, что скажу, что свет изображает предмет как бы многими нитями, исходящими из точек видимого предмета, а осязание изображает его одним чувством в нашей душе как бы многими нитями, исходящими из различных осязаемых точек. Если это так, то изображения должны быть сходны.

Я мог бы добавить, что все делается через осязание, но для этого потребовались бы более обширные объяснения.

XXVIII Я думаю, что почти все философы согласятся со мною относительно двух последних тезисов и скажут только, что вне меня есть нечто, являющееся причиной того, что я имею эти два восприятия *я вижу дерево, я слышу звуки*. Но я прошу их перечитать то, что я сказал о силе предложения *есть* и о способе, как мы его образуем. Впрочем, что толку в том, что скажешь *есть* нечто, являющееся причиной того, что я имею восприятия *я вижу, я осязаю, я слышу*, если то, что я вижу, осязаю, слышу никогда на это нечто не похоже. Я признаю, что есть причина, от которой зависят все наши восприятия, ибо ничто не есть так,

как оно есть без причины. Но какова эта причина? Я не могу ее постигнуть, так как все то, что я имею, на нее не похоже. Ограничимся же по этому вопросу пределами, предписанными нашему уму.

(Ответ.) Я признаюсь Мопертюи, что я, может быть, не знаю, какова эта причина, но достаточно, что я знаю, что она существует вне меня и что это существо реальное, отличное от бога и от меня.

XXIX. Можно было бы поставить еще много вопросов о последовательности наших восприятий: почему следуют они один за другим в известных отношениях между собой; почему получаемое мною восприятие *я иду в то место, где я увидел дерево*, сопровождается восприятием *я увижу дерево*. Открыть причину этой связи, повидимому, выше наших сил.

XXX. Но нужно обратить внимание на то, что мы сами не можем быть судьями относительно последовательности наших восприятий. Мы воображаем продолжительность, в которой распространены наши восприятия, и мы высчитываем расстояние между ними посредством частиц времени, протекающих между ними; но что представляет собой эта продолжительность? Движение звезд, часы и подобные инструменты, к которым я пришел лишь после того, как я это движение объяснил, могут ли они быть достаточными мерами.

XXXI. Правда, я имею в моем уме восприятие об известной продолжительности, но я познаю эту продолжительность только благодаря количеству восприятий, которое моя душа в ней разместила.

Эта продолжительность кажется не одной и той же, когда я страдаю, когда я скучаю, когда я наслаждаюсь; я могу ее познать лишь посредством предположения, что мои восприятия следуют друг за другом всегда одинаковым шагом. Но не могло ли протекать огромное количество времени между двумя восприятиями, которые я рассматривал, как следующие очень близко друг за другом?

XXXII. Наконец, почему я познаю прошедшие восприятия только благодаря памяти, являющейся восприятием настоящего. Все прошедшие восприятия не являются ли только частями этого настоящего восприятия?

Не мог ли я в первое мгновение моего существования иметь восприятие, составленное из тысячи других как про-

шедших, и не имел ли бы в этом случае такое же право, какое я имею теперь, высказать свое мнение об их последовательности?

(Ответ.) Я сейчас сделаю замечания о четырех последних тезисах труда Мопертюи и я изложу мои идеи о последовательности наших восприятий и о нашей памяти.

Я сначала признаю, что я не смог бы объяснить всю последовательность наших идей, но я замечаю, что наши первые идеи исходят из наших чувств, из наших потребностей; они тем глубже запечатлены в нашем уме, чем наши чувства более упражнялись на одном и том же предмете и чем наши потребности продолжают оставаться теми же. Они связываются между собой тем сильнее, чем наши чувства имеют больше аналогии и чем наши потребности имеют больше отношений одни с другими. Я допускаю здесь переходящие обстоятельства и связи общества и говорю, что идеи, связанные между собой, легко возбуждаются и следуют одна за другой, потому что они помещены в нашем уме в виде цепей.

Однако иногда бывает, что идея не возбуждает наиболее связанных с ней идей; нужно остерегаться привходящих обстоятельств.

Мне представляется куча шаров, лежащих на столе друг возле друга; в зависимости от стороны, куда ударяешь, выходит один скорее, чем другой. Спокойный зритель мог бы увидеть в беседе, как бы блестящей и разносторонней она ни была, все переходы, часто связанные с одним словом, и мог бы легко угадать обороты ума и их направление благодаря слову, которое вызывает один оборот скорее, чем другой, и по одному вопросу скорее, чем по другому.

Что касается причины, почему идея *я вижу дерево* (XXIX тезис Мопертюи) следует за идеей *я иду к месту, где я видел дерево*, то она проста и объясняется тем, что дерево там есть; Мопертюи же меня смешит.

Что касается продолжительности, о которой он говорит, то я согласен, что об этом может быть только относительная оценка, которая становится достаточно точной, чтобы выносить известное суждение. Слушая, как он говорит о звездах, о часах и т. д., скажешь, что все это есть дело простого воображения. Я же не могу одобрить подобный пирронизм, в котором всякий, кто не является более студентом

метафизики, обнаружит либо бред,] сумасшедшего,] либо игру довольно расстроенного ума.

Я сказал уже пару слов относительно аналогии наших чувств, когда говорил о способе, по которому наши идеи связывались; если по данному вопросу сделать немного тонких замечаний, то можно притти к довольно любопытной теории чувств.

Вот как я бы отчасти хотел, чтобы за это брались: верно, что аналогии суть вещи скорее *чувствуемые*, чем постигаемые, и что народ *чувствует* задолго до того, как философ сумеет разобратся в причине. Между прочим, эти философы приводят меня в бешенство: они охотно рассуждают о том, чего никто кроме них не знает, и почти никогда не говорят о том, что все знают. Возвращаясь же к моему предмету, скажу, что то, что народ *чувствует*, изображается в языках. Я хотел бы, таким образом, чтобы в языках были исследованы метафоры, которые были сделаны от одного чувства к другому и от чувства к рассудку; это привело бы нас к познанию чувства и мимоходом, может быть, показало бы нам *как* многих наших способов мышления. Вот примеры: говорят *проницательный* взгляд, *проницательный* звук, *проницательное* ухо (последнее выражение наименее употребительно), не говорят *проницательный* вкус или *проницательный* запах, но говорят *проницательный* ум и т. д.—нехватает бумаги, чтобы все написать

Вообще *слух*, *зрение* и *ум* суть аналогии; осязание, вкус, обоняние, сердце и т. д.—также. Нужно было бы это проследить в различных метафорах, даже в различных языках; таким образом удалось бы найти метафоры смелые и приятные, из которых одни могли бы дать взгляды, другие доказали бы плохой вкус нации.

Перехожу к памяти. Тезис XXXII наиболее глупый из всех. Что это за прошлые восприятия, участвующие в настоящем восприятии? Что собой представляет это пирроническое предположение, которым он кончает?

Вот моя мысль всякая замеченная идея или замеченный знак производит впечатление, оно связывается или нет с другими. Впечатление, связанное с другими, легче всего вспомнить. Вспоминает ли оно или напоминает ли оно оставленный им признак или в некотором роде звено, которое оно образovalo с другими? Когда оно представляется, оно несет

в себе чувство своей власти; здесь было его место, и последнее приспособлено только для него,—ум это чувствует. Такова память. Если бы впечатление не связалось ни с какой другой идеей, оно порхало бы в уме, и мы не имели бы чувства уверенности в своей памяти; и я не знаю, чувствовали ли вы подобно мне, как эти идеи порхают в вашей голове настолько, что вы не знаете, имели ли вы эти идеи или нет. Есть другие случаи, когда это происходит. когда, не побывав еще в уме, они составляют продолжение тех, кои там находятся; сомневаешься, имел ли ты их или нет. Я называю эти идеи *угрызениями ума*; они делают род упрека в том, что вы их не имели.

ПИСЬМА К АББАТУ СИСЭ СТАРШЕМУ

О СИСТЕМЕ БЕРКЛИ „ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАШИХ ЗНАНИЙ“

Октябрь 1750 г.

Беркли пытается доказать, что существующая вне нас материя не является непосредственным предметом восприятия нашей души. Как докажет он, что это существо, находящееся вне нас, эта причина наших ощущений, этот общий центр, где последние сходятся и которое все люди называют материей, что она не существует? Я не собираюсь его опровергать, я вам изложу только мои взгляды.

Я поднимаю руку к предмету: я чувствую сопротивление и имею о нем представление через осязание; в то же время я вижу, что моя рука приближается к предмету, который мне уже показали мои глаза; я направляю мою руку с помощью моих глаз, я вижу, как она прикасается к предмету, который благодаря этому является общей причиной моих двух ощущений. Если бы моя рука существовала только в моей идее, последние не имели бы никакого отношения к предмету.

Вот еще нечто большее. Философствуя об отношении моих ощущений к предметам, умножая рассуждения и опыты, я открываю, что все это происходит согласно известным законам. Я предполагаю наличие лучей света, отражающих предмет в моем глазу и преломляющихся в хрусталике. Следовательно, продолжая предполагать предмет и лучи существующими, я отсюда заключаю, что вставленные выпуклые стекла увеличат мне предметы, помогут мне открыть в них то, что ускользало от меня, благодаря их малым размерам. Я вырезаю стекло или, если хотите, идею стекла;

я помещаю его между идеей моего глаза и идеей предмета; предмет увеличивается; я в нем вижу новые предметы, постоянно следуя большему или меньшему расхождению, которое было бы между лучами, если они и стекло были бы реальными. Я смотрю через призму: предмет благодаря преломлению как будто более или менее увеличивается, в зависимости от большей или меньшей плотности призмы.

Какая же нелепость воображать, что бессмысленные предположения могут привести к заключениям, подтверждаемым опытом. Это же рассуждение может быть приложено так же хорошо к другим чувствам, как и к зрению.

Я добавляю: если тела не существуют, физика уничтожается. А сколько вещей доказываются физикой — давление воздуха, заставляющее ртуть подниматься в трубке; движение неба и земли, благодаря которому последняя поворачивается к солнцу последовательно свои различные точки. Откуда является ночь, если не вследствие помещения земли между солнцем и нами? Чем мы питаемся? Мы едим и без этого перестаем существовать. Но разве нас поддерживает представление о мясе и его вкус или его внешний вид? Нет, это делает невидимое пищеварение, происходящее во внутренних органах; они существуют только для хирурга, который вскроет их после нашей смерти. Кровь вытекает из укола, потому что она циркулирует в „несуществующих“ сосудах; так как они явно невидимы, то нужно считать, что сама кровь не существует!

Отношения, которые имеют наши идеи с идеями других людей, могут дать основание еще для другого рассуждения. По какой странности автор допускает идеи других людей? Разве мы их более непосредственно замечаем, чем другие предметы, и разве к ним нельзя подойти со всеми этими рассуждениями и т. д? Более того, откуда происходит то, что я вижу предмет достаточно большим и что человек, более от него удаленный, увидит его значительно меньшим? Если пространство, предмет, лучи света и мой глаз не существуют, если порядок наших идей, если реальность вещей существуют в порядке идей бога, почему различные люди видят один и тот же предмет различно или, если они видят не один и тот же предмет, что является общей связью их различных ощущений? Я вижу только произвол бога. Но что представит собой вся эта игра физических причин? Не

использует ли бог одну из них, чтобы нас ввести в заблуждение? Вопрос о случайных причинах не имеет здесь значения. Если будет доказана их невозможность, Беркли будет этим опровергнут, но их возможность и даже их реальность нисколько не говорят в его пользу. Впрочем, если бы пришлось выбирать между этими двумя мнениями, я склонился бы к признанию случайных причин.

Мое главное рассуждение основано на том, что Беркли очень искусно доказывает в своей теории зрения, что отношения между углами лучей недостаточны, чтобы нам дать понятие о расстояниях, и на том, что одним только опытом мы расстояние не можем познать, что я в то же время считаю не менее хорошо доказанным и против Беркли.

Ну, довольно об этом предмете. Вы дополните вашими размышлениями то, что недостает в моих.

ВТОРОЕ ПИСЬМО

(Понятие о пространстве. Существование тел. Достоверность моего я. Пространство и субстанция.)

Я не вижу, чтобы можно было что-нибудь ответить на мое рассуждение против Беркли, которое я вам изложил в предыдущем письме. Он может сколько угодно нам говорить, что мы видим только наши идеи, изменения нашей души и что мы ничего не знаем о том, что находится внутри какой-либо вещи. Мальбранш точно так же выразился по отношению к настоящему вопросу, соглашаясь, что мы не видим *тел самих по себе*. „Но, — добавляет Беркли, — ясно, что ничто, подобное нашим идеям, не может существовать вне нас, потому что существо, являющееся реальным лишь постольку, поскольку оно *видимо*, не может существовать, *будучи невидимым*“.

Он приводит еще другие доказательства, которые не большего стоят. Нет надобности долго останавливаться на этом ребяческом вопросе — подобна или нет ощущениям причина наших ощущений.

Я поддерживаю, что материя, существующая вне нас, имеет геометрические свойства, зависящие от расстояния, и, следовательно, имеет фигуру и движение.

Вспомните рассуждения, которыми я доказываю существование тел, выводимое как общая причина наших ощущений и ощущений различных людей; все ощущения относятся к этим внешним предметам, согласно тем же законам, основанным на порядке наших ощущений. По Беркли, это было бы странной и непонятной последовательностью, но она по необходимости вытекает из предположения о существовании материи.

Я беру из этого рассуждения один частный случай из тысячи, которые оно может дать. Я вижу различные предметы, и Беркли не сможет отрицать, что между тем, что я называю *предметом* и другой *идеей*, которая, мне кажется, более мне принадлежит и которую я называю *я*, я замечаю третью идею, которую я называю расстоянием между предметом и мною. Он также не сможет отрицать того, что весь этот способ видеть я мог бы назвать — *видеть предметы вне меня*.

Я ищу, какая может быть причина этих восприятий предметов. После многих рассуждений и опытов я прихожу не к заключению, что вне меня существуют тела, которые вызывают эти восприятия (в этом я никогда не сомневался), а к тому, что тела непрерывно посылают лучи, которые доходят до моего глаза, в нем преломляются, скрещиваются и, ударяя в различных точках на сетчатку, передают душе ощущение, которое она относит к концам этих лучей. Это еще только схема. Но скоро я заключаю, что, в зависимости от различной длины этих зрительных лучей, одно и то же тело должно казаться меньшим или большим; и так как я имею возможность, представляя себе, *что я иду*, по желанию изменять *идею*, которую я назвал *расстоянием от меня к предмету*, то я приближаюсь к данному предмету — и я его вижу большим, я удаляюсь от него — и вижу его меньшим. Я комбинирую то, что в моей гипотезе получится от зрительных лучей. Если между телом и мною я помещаю выпуклое стекло, я заключаю, что тело должно мне казаться большим. Действуя в соответствии с этим, я пользуюсь телескопом или микроскопом. Ясно, что гипотеза, все положения которой так хорошо подтверждаются опытом, реальна и что, следовательно, мои зрительные лучи, мой предмет, мой глаз, мой микроскоп действительно существуют вне меня. Эти зрительные лучи, которые я только предпо-

жил, которые в системе Беркли совсем не существуют, ибо не видимы, суть, однако, начало, связывающее весь порядок моих ощущений. Это же рассуждение я могу приложить к системе давления воздуха на ртуть, находящуюся в трубках, к системе Коперника и Ньютона.

Сила этого рассуждения в нашем случае частично основана на том, что материальные начала, реально существующие, действуют, хотя нечувствительно, между тем как то, что не существует, не может ни действовать, ни влиять на *порядок* наших идей; по Беркли же, эти лучи и пр. не существуют, потому что *они невидимы*. Добавлю, что в его системе этот порядок идей является наиболее необъяснимой вещью.

Я хорошо понимаю, что если я ем, то мне нужен желудок и внутренности для пищеварения; но если я не ем или если я ем только в идее, если мой желудок, которого я не вижу, *ничто*, почему тот, кто вскрывает мое тело, получит идею желудка, столь же мало полезного для него, как для меня? Я вам уже говорил об этом, но когда хочешь проникнуться идеями, не мешает ее повторить.

Отношение, существующее между средствами и их целью, отношение столь очевидное во всей природе, исчезло бы, если бы все было только совокупностью идей. Словом, все объясняется при предположении существования тел, все темно и странно, если это существование отрицается. Сколько неприятных ощущений, в особенности те из них, которые нас предупреждают об опасностях нашего тела, были бы только жестокой игрой со стороны бога, если бы тела не существовали! Но существование внешних предметов доказано.

Но те же рассуждения доказывают, что геометрические свойства, которые мы приписываем пространству, принадлежат материи, так как они доказывают, что лучи света образуют между собой различные углы, стороны которых заканчиваются существующим предметом. Отсюда я заключаю, что существующий предмет является основанием конуса или пирамиды лучей, которая имеет свою вершину в моем глазу, и что, следовательно, различные точки этих предметов, которые заканчивают различные лучи, имеют между собой различные пространственные отношения, обусловленные формой фигур. Как только мы предполагаем реальным, а не идеальным, пространство между двумя предметами, то, поскольку это

пространство непостоянно, постольку тем самым с очевидностью доказывается реальность движения физического мира.

Этой связью физического мира с нашими идеями и с идеями других людей я также объясняю достоверность памяти и тождество своего я. Одним словом, поскольку наши идеи являются только нашими идеями, постольку я могу убедиться в существовании другой вещи, вне их лежащей, только путем рассуждения об их причинах, образуя гипотезы, точное отношение которых к явлениям служит для них проверкой. Беркли не убеждается иным путем о существовании людей, с которыми он общается; почему же хочет он, чтобы тот же самый довод, который доказывает ему существование людей, терял свою силу, когда речь идет о существовании материи? Доказал ли он невозможность этого? Знает ли он природу вещей настолько, чтобы доказать противоречивость положения о существовании вне его существ, имеющих между собой отношения расстояния?

Но, скажут, эти отношения расстояния суть отношения идеальные, соответствующие только видоизменениям моей души. Это затруднение независимо от существования предметов вне нас. Существует ли или нет вне нас материя, достоверно, что, поскольку мы относим наши ощущения цвета или сопротивления к большим или меньшим расстояниям, постольку мы себе представляем вне нас геометрические фигуры, стороны которых неодинаковы и которые мы делим по нашему усмотрению. Если бы Беркли допускал, что деление реально, он устранил бы весь спор, но он поддерживает, что оно *идеально*. Не может ли существовать реальное деление вне моей души, потому что в моей душе имеется идеальное деление?

Что вводит в заблуждение Беркли, так это его предположение, будто установлено, что внешние предметы подобны нашим идеям; это отнюдь не так. Я доказываю только, что внешние предметы имеют геометрические свойства, зависящие от расстояний, т. е. фигуру и движение, по необходимости принадлежащие сложным телам. Правда, эту фигуру и это движение представляют наши идеи, но это одинаково непонятно в его системе, как и в нашей. Трудность заключается в самом факте, а факт имеется во всех системах.

Его рассуждение, выведенное из сравнения первичных и вторичных качеств, не стоит большего. Он уверен, что мы охотно поддерживаем в одно и то же время, что цвета, вкус

и т. д. суть только видоизменения нашей души и что пространство существует вне нас не потому в самом деле, что я познаю пространство независимо от всякого цвета и что я не могу постигать цвет без пространства, но потому, что я знаю, что вкус, цвета и т. д. производятся во мне физическими движениями моих органов.

То же самое можно сказать об идее пространства; вне меня существует не моя идея пространства, а протяженная материя, существование которой я доказал доводами, которые нельзя было бы применить к цветам. Для объяснения порядка идей и ощущений достаточно, чтобы зрительные лучи могли возбудить в нас ощущения цветов и т. д., — то, что они могут сделать одним движением; но идею пространства они не могут нам дать, не образуя между собою углов и, следовательно, без предположения о существовании пространства вне нас.

Беркли не смешал бы так пространство с тем, что древние философы называли *вторичными качествами*, если бы он хорошо проанализировал способ, которым мы благодаря чувствам приобретаем идею о пространстве. Лучи света рисуют на сетине картину, каждая точка которой является концом луча. Так как лучи сообразно своим различным скоростям возбуждают в нас чувство различных цветов, каждое тело имеет на этой картине изображение, его отличающее. Если бы душа относилась свое ощущение к точке, где лучи соединяются, она не имела бы никакой идеи потому, что нельзя иметь идею цвета без идеи пространства. Если бы она относилась свое ощущение к сетине, мы увидели бы предметы в обратном положении; но так как она относит ощущения к расстоянию, взятому по длине луча, ощущение, соответствующее каждому лучу, делает точку в идеальной картине, которая предполагается на известном расстоянии от глаза и которая, таким образом, нарисовывается соединением разноцветных точек. Итак, идея пространства нам дает соединение точек, к которым мы относим наши ощущения, каков бы ни был их характер. Не только каждый цвет, образуя ощущение, абсолютно отличное от других, дает нам, однако, одинаковую идею о пространстве, но мы получаем ее еще от того ощущения сопротивления, которое в нас возбуждает осязание. Одним словом, наши ощущения суть в некотором роде элементы и точки картины, которую душа себе образует о пространстве.

Сказанное доказывает, что мы не можем вообразить пространство без цвета, когда мы его себе представляем существующим на некотором расстоянии от нас, и в то же время мы получаем о нем идею посредством осязания, которое как будто не имеет никакого отношения к идеям, получаемым от цветов (потому что ощущение не действительно), хотя по отношению к последствиям и к геометрическим свойствам идея абсолютно одна и та же.

Только два чувства (зрение и осязание.— *Пер.*) дают нам идею фигур, ибо никакое другое не доставляет нам ощущений, которые мы могли бы относить ко многим определенным точкам. Звук, хотя дает нам иногда идею расстояния, не мог бы нам дать идею фигуры, потому что он распространяется не по прямой линии, и поэтому мы не можем его отнести к той или иной точно определенной точке. Но такие ощущения, которые сами по себе не дают идеи точно определенного пространства, как холод или тепло, могут нам ее дать, как только мы можем посредством осязания относить их к известному количеству точек.

Таким образом, необходимо тщательно отличать идею пространства от ощущений, хотя эту идею можно постигать только через некоторое ощущение и хотя последнее служит для нее началом. Ощущения нам дают эту идею не вследствие природы того или иного ощущения, голубого или красного цвета, шероховатости или гладкого, твердости или жидкости, но единственно благодаря тому, что мы их легко относим к различным определенным точкам, находящимся либо на далеком расстоянии, как при зрении, и тогда всегда по прямой линии, либо на поверхности нашего тела, как во всех ощущениях, которые мы получаем посредством осязания.

Беркли еще старается доказать, что пространство не является *субстанцией*. Я не отвечу на его рассуждения. Я вам скажу только, что ни Локк, ни он сам не понимают истинного происхождения идеи субстанции и что они смешивают два термина *субстанция* и *эта субстанция* и два вопроса *является ли пространство субстанцией вообще или в частности*. Я бы лучше объяснился по этому поводу, если бы имел перед глазами то, что я написал против Мопертюи, чтобы доказать *существование* тел и чтобы ответить на рассуждения Беркли.

Еще одно слово о гипотезе, которой он заменяет общую

гипотезу Беркли утверждает, что общая причина наших ощущений и наших идей не что иное, как *порядок идей бога*, которые он сделал ощутимыми во времени для созданных им душ. Я отнюдь не останавлиюсь на множестве метафизических затруднений, которые вызывает эта система. Я замечу только, что он не объясняет того, что нужно объяснить. Вопрос заключается в следующем: почему ряд моих идей всегда имеет известные отношения с рядом идей других людей — отношения, единственно регулирующие теми отношениями, которые мы имеем как одни, так и другие с предметами, существующими, как мы предполагаем, вне нас? Но в чем проявляются здесь *идеи бога*? Не в различных ли идеях, которые являются причинами идей различных людей? Тогда откуда происходит существующее здесь отношение с предметами, находящимися вне нас? Не та ли самая *идея бога* вызывает во мне идею белого, в вас идею желтого, во мне идею дома с моей правой стороны, в вас идею темной массы длиной десять футов с вашей левой стороны? Есть ли *между идеями бога* отношения расстояния? Отражают ли они цветные лучи? Видимы ли они согласно правилам перспективы? И на чем основаны эти правила?

Пожалуй, достаточно, чтобы показать смехотворность системы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В СОРБОННЕ
11 ДЕКАБРЯ 1750 г.

Явления природы, подчиненные неизменным законам, заключены в круге всегда одинаковых переворотов. Все возрождается, все погибает; и в последовательных поколениях, через которые растения и животные воспроизводятся, время в каждый момент только воссоздает образ того, что оно само разрушило.

Последовательное движение людей, напротив, представляет из века в век всегда меняющееся зрелище. Разум, страсти, свобода беспрестанно порождают новые события. Все эпохи сплетены цепью причин и следствий, связывающих данное состояние мира со всеми предшествовавшими состояниями.

Знаки языка и письменности, давая людям средство обеспечатить себе обладание своими идеями и сообщать их другим, образовали из всех частных знаний общую сокровищницу, переходящую как наследство от одного поколения к другому и все увеличивающуюся открытиями каждого века. И человеческий род, рассматриваемый с момента своего зарождения, представляется взорам философа в виде бесконечного целого, которое само, как всякий индивидуум, имеет свое состояние младенчества и свой прогресс.

Мы видим, как зарождаются общества, как образуются нации, которые поочередно господствуют и подчиняются другим. Империи возникают и падают; законы, формы правления следуют друг за другом; искусства и науки изобретаются и совершенствуются. Попеременно то задерживаемые, то ускоряемые в своем поступательном движении, они переходят из одной страны в другую. Интерес, честолюбие, тщеславие обуславливают непрерывную смену событий на мировой сцене и обильно орошают землю человеческой кровью. Но в процессе вызванных

ими опустошительных переворотов нравы смягчаются, человеческий разум просвещается, изолированные нации сближаются, торговля и политика соединяют, наконец, все части земного шара. И вся масса человеческого рода, переживая попеременно спокойствие и волнения, счастливые времена и годы бедствия, всегда шествует, хотя медленными шагами, ко все большему совершенству.

Указанные нам пределы лишают нас возможности представить вам здесь столь грандиозную картину. Мы попытаемся только показать непрерывность прогресса человеческого разума. И некоторые размышления о зарождении, развитии, и об изменении наук и искусств, расположенные в последовательном порядке исторических фактов, образуют весь план этой речи.

* *

Священные книги, просвещая нас о создании вселенной, происхождении людей и зарождении примитивных искусств, показывают нам затем человеческий род, сызнова сокращенным вследствие всемирного потопа до единой семьи.

Едва только он начал восстанавливать свои потери, как чудесное разделение языков заставило людей разбиться на отдельные группы. Необходимость заботиться об удовлетворении настоятельных потребностей питания в бесплодных пустынях, где встречались только дикие животные, вынудила людей рассеяться по всем направлениям и ускорила распространение их по всему миру. Вскоре изначальные традиции были забыты. Народы, разделенные широкими пространствами и еще более различием языков, чуждые друг другу, были почти все повержены в такое же варварство, в котором мы находим еще туземцев Америки.

Но средства природы и плодоносные зародыши наук наносятся всюду, где появляются люди. Наивысшие знания являются и только могут быть развитием или сочетанием первичных чувственных идей, подобно тому как здание, высота которого наиболее удивляет нас, необходимо опирается на землю, которую мы топчем ногами. И те же чувства, те же органы, зрящие одной и той же вселенной дали людям всюду те же идеи, как одни и те же потребности и склонности научили их всюду одним и тем же искусствам.

Слабый свет начинает прорезывать густой мрак, покрывавший все нации, и распространяется все далее и далее. Жители

Халдеи, более близкие к источнику изначальных преданий-египтяне и китайцы оказываются впереди всех остальных на родов. Другие следуют за ними поодаль; одни успехи приводят к новым успехам. Неравенство между нациями увеличивается: здесь искусства начинают зарождаться; там они идут большими шагами вперед к своему совершенству; далее они отстаиваются в своей посредственности; в других местах изначальный мрак еще не рассеялся. И в этом неравенстве, до бесконечности разнообразном, нынешнее состояние вселенной, представляя одновременно все оттенки варварства и цивилизации, некоторым образом показывает нам при одном только взгляде следы и памятники всех шагов человеческого разума, картину всех ступеней, через которые он прошел, и историю всех эпох.

Разве природа не всюду одинакова? И если она приводит всех людей к одним и тем же истинам, если даже их заблуждения имеют общее сходство, почему люди не идут в ногу по начертанному для них пути? Без сомнения, человеческий разум всюду включает начало одного и того же прогресса; но природа, которая неравномерно распределяет свои благосклонности, дает некоторым умам обилие талантов, отказывая другим; благодаря обстоятельствам эти таланты развиваются или увядают во мраке, и бесконечное разнообразие этих обстоятельств порождает неравенство прогресса народов.

Варварство уравнивает всех людей; и в изначальные времена люди, одаренные от рождения гениальными способностями, встречают почти одинаковые со всеми препятствия и одинаковую поддержку.

Между тем общества образуются и расширяются; взаимная ненависть народов, честолюбие, или вернее, жадность, в которую единственно выливается честолюбие варваров, умножают войны и опустошения; завоевания, революции смешивают на тысячу ладов народы, языки и нравы. Горные цепи, великие реки и моря, задерживая движения и, следовательно, смешения народов, в известных пределах благоприятствуют образованию общих языков, ставших связывающими звеньями для многих наций, и способствуют разделению каждого народа на классы. Земледелие делает жителей более оседлыми; оно прокармливает количество людей гораздо большее, чем требуется для возделывания земли, и поэтому налагает на остающихся праздными необходимость сделаться для земледельцев либо

полезными, либо опасными. Отсюда города, торговля, ремесла, утилитарные и изящные искусства. Отсюда же разделение профессий, различие в воспитании, гораздо большее неравенство в условиях существования. Отсюда этот досуг, благодаря которому гений, избавленный от тяжести, налагаемой потребностями первой необходимости, выходит из узкой сферы, в которой они его удерживали, и направляет все свои силы к разработке наук. Отсюда более мощный и более быстрый подъем человеческого разума, увлекающего за собой все части общества и черпающего в их совершенствовании новые силы.

Страсти развивались наряду с гением, честолюбие возростало, политика открывала пред ним все более широкие перспективы, победы имели более серьезные последствия и обусловили образование империй; законы, нравы, формы правления, оказывая различные влияния на развитие гения, породили род общего воспитания народов и установили между народами такие же различия, какие воспитание устанавливает между людьми.

Империи, соединяемые, вновь разделяемые, восстанавливаемые одни на развалинах других, быстро сменялись. Перевороты в них вызвали последовательно смену всех возможных государственных состояний, сблизили и разъединили все элементы политических образований. Подобно колебанию морского уровня, вследствие прилива и отлива, могущество одной нации переходило к другой и в недрах одного и того же народа от государей к толпе и от толпы к государям. В этих изменениях все колеблющееся постепенно приближается к состоянию равновесия и со временем принимает более прочное и более спокойное положение. Честолюбие, создавая великие государства из обломков маленьких, само устанавливает пределы своим опустошениям; война разоряет только границы империй; города и деревни начинают дышать в атмосфере мира; люди все теснее связываются общественными узами; сообщество знаний становится более быстрым и более широким, и искусства, науки и нравы идут в своем поступательном движении более быстрыми шагами. Подобно тому как морские волны спадают тотчас по прекращении бури, их вызвавшей, неизбежные бедствия революций быстро исчезают, благо остается, и человечество совершенствуется. В процессе этого разнообразного сочетания событий, то благоприятных, то неблагоприятных, противоположные действия которых должны со временем взаимно уничтожиться, гений, который природа,

неравномерно распределяя между людьми, распространила, тем не менее, на всю массу человечества в почти равных объемах на равных расстояниях,— гений действует беспрерывно, и его влияние постепенно становится заметным.

Его движение, вначале медленное, игнорируемое, скрытое во мраке общего забвения, в которое время повергает дела людские, делается быстрым и видимым благодаря изобретению письменности.

Драгоценное изобретение! Оно будто наделило крыльями народы, достоянием которых оно раньше сделалось, чтобы опередить другие нации. Неоценимое изобретение, вырывающее у власти смерти память о великих людях и примеры добродетели; оно соединяет места и времена, закрепляет быстротечную мысль и обеспечивает ей продолжительное существование. Благодаря ему взгляды, опыты, открытия, производства всех эпох, увеличиваясь, служат потомству основанием и ступенью для постоянного усовершенствования.

Но какое зрелище представляет последовательность воззрений людей! Я ищу здесь успехов человеческого разума и вижу почти только историю его заблуждений. Почему его развитие, столь верное с первых шагов в области математических наук, является столь колеблющимся и столь подверженным заблуждению во всех остальных отраслях знания?

Попытаемся открыть причины.

В математике ум выводит последовательно одно из другого цепь предложений, справедливость которых доказывается их взаимоотношением. Не так обстоит дело в других науках, где познание истины рождается не из сравнения идей между собой, но из их соответствия с реальными фактами, служащими для открытия и утверждения истины. Речь идет не об установлении небольшого числа простых принципов, откуда разум мог бы последовательно выводить все вытекающие из них следствия. Отправным пунктом должна служить природа, какова она есть, и бесконечное различие явлений, обусловленных столькими, взаимно уравнивающими причинами. Понятия не являются собранием идей, которые разум произвольно образует и точный объем которых он знает. Идеи рождаются и группируются в нашей душе почти независимо от нашей воли; образы предметов настигают нас уже в колыбели; постепенно мы научаемся их различать не столько по отношению к тому, чем являются они, рассматриваемые сами по себе, сколько по

отпущению к той роли, которую они играют в наших обычаях и наших потребностях. Знаки языка запечатлеваются в еще слабом уме, связываются в силу привычки и подражания сначала с частными предметами, затем дают возможность вспоминать более общие понятия. Этот хаос идей и выражений беспрестанно увеличивается и смешивается, и человек, начиная искать истину, оказывается в лабиринте, куда он входит с завязанными глазами. Нужно ли удивляться его заблуждениям?

Созерцатель вселенной — он остается в неизвестности о причинах, последствия которых показывают ему его чувства; а искать неизвестной причины путем исследований ее следствий — значит разгадать загадку, придумать одно или несколько слов, последовательно испытывать их, покуда отыщется одно, отвечающее всем условиям. Физик образует гипотезы, прослеживает их в следствиях, сравнивает их с загадкой природы, испытывает их, так сказать, на фактах, подобно тому как проверяют отпечаток, сличая его с печатью. Предположения, сделанные на основании немногих, плохо понятых следствий, уступают место другим, менее бессмысленным, но не более истинным. Время, исследования и случаи увеличивают наблюдения, вскрывают тайные связи, соединяющие многие явления.

Любопытство людей, тревожное, способное успокоиться только найдя истину, всегда возбуждается образом этой самой истины; оно стремится ее уловить, но она всегда как будто от него убегает, умножает вопросы и споры, заставляет все более точно анализировать идеи и факты.

Математические истины, становящиеся с каждым днем все более многочисленными и поэтому все более плодотворными, дают возможность строить более обширные и более точные гипотезы, указывают новые опыты, которые в свою очередь выдвигают для разрешения новые проблемы.

Таким образом, потребность совершенствует орудие: математические науки опираются на физику, которую они сами освещают факелом своих точных вычислений. Все оказывается во взаимной связи. И, невзирая на своеобразие их развития, все науки оказывают друг другу взаимную поддержку. Итак, идя ощупью, умножая системы, обессиливая, так сказать, всевозможные заблуждения, люди достигают, наконец, возможности познать большое количество истин.

Какими сумасбродными воззрениями ознаменовались наши

первые шаги! Какие нелепые причины придумывали наши предки для объяснения наблюдаемых ими явлений! Какие печальные памятники, свидетельствующие о слабости человеческого разума!

Чувства представляют единственный источник его идей. Вся сила воображения ограничивается сочетанием чувственных понятий. Разум едва может образовать соединения, образцы которых не дают ему чувства. Отсюда почти непреодолимая склонность судить о неизвестном на основании известного; отсюда эти обманчивые аналогии, которыми первобытные люди благодаря своему невежеству так легкомысленно злоупотребляли. Отсюда чудовищные заблуждения идолопоклонства: люди, забыв старые предания, пораженные затрагивающими чувства явлениями, предположили, что все действия независимо от их следствий совершаются существами, им подобными, но невидимыми и более сильными, и стали их боготворить. Созерцая природу, обращая свои взоры как бы только на поверхность глубокого моря, вместо того чтобы рассматривать дно, скрытое водами, они видели только свое собственное изображение. Все естественные предметы являлись для них богами; считая их созданными по образу и подобию людей, они приписывали им свойства и пороки последних. Суеверие осветило по всей вселенной капризы фантазии. И единый истинный бог, единственно достойный обожания, был известен только в одном уголке земного шара народу, избранному этим богом¹.

В этом медленном, постепенном развитии воззрений и заблуждений, друг друга изгоняющих, образ запоздалой истины представляется мне в виде появляющегося из земли растения, первые листья и оболочки которого последовательно, по мере образования новых покровов, увядают и стебель которого, наконец, окончательно формируется и увенчивается цветами и плодами.

Горе тем народам, у которых благодаря слепому усердию к наукам последние с целью их закрепления были ограничены пределами знаний данного момента. Именно в силу этой причины в странах, где цивилизация впервые зародилась, науки отнюдь не достигли наибольшего прогресса. Уважение, которое блеск новшества внушает людям к зарождающейся фило-

¹ Еврейский народ в Палестине. — Прим. перевод

софии, стремится увековечить перлчные воззрения. К этому присоединяется дух сектанства, вполне естественный для первых философов. Ибо высокомерие питается невежеством; ибо чем менее человек знает, тем более он обнаруживает самоуверенности; ибо чем меньше открывали новых истин, тем труднее было видеть, сколько осталось еще открывать. Суеверие, которое в Египте и задолго до этого в Индии сделало учения древней философии священным и неотчуждаемым достоянием жреческих фамилий, связывало и включало их в догматы ложной религии. Политический деспотизм в передней Азии, обусловленный образованием больших империй в варварские времена, и гражданский деспотизм, порожденный рабством и многоженством, являющийся следствием рабства; изнеженность государей, унижение подданных, даже забота императоров в Китае об урегулировании изучения наук и приложения их к политическому устройству государства — все это задержало навсегда в этих странах науки в их изначальном состоянии. Эти стволы, слишком изобиловавшие ветвями вначале, скоро остановились в своем росте.

С течением времени образовались новые нации. В условиях неравенства развития наций просвещенные народы, окруженные варварами, то завоевателями, то побежденными, постепенно смешались с ними; насаждение искусств и законов среди последних совершалось либо в силу победы первых, либо, являясь победителями, варвары в силу естественной власти разума и просвещения над грубой силой были побеждены духовно, и невежество среди них беспрестанно уменьшалось.

Финикийцы, жители безводной страны, сделались руководителями обмена среди народов. Их корабли, плавая по всему Средиземному морю, начали открывать одни нации за другими. Астрономия, мореходное искусство, география взаимно друг друга совершенствовали. Берега Греции и малоазийское побережье покрылись финикийскими колониями. Колонии подобны плодам, которые висят на дереве только до тех пор, пока созревают: став сильными, они сделали то, что затем сделал Карфаген, что некогда сделает Америка¹.

* * *

Благодаря смешению этих независимых друг от друга колоний с древними обитателями Греции и остатками всех варварских племен, последовательно опустошавших ее, образовалась греческая нация. Эта нация сложилась из массы мелких народностей, которым одинаковая слабость и природа страны, ограниченной горами и морем, препятствовали расширяться одним за счет других. Сверх того, целый ряд причин — ассоциации, общественные и частные интересы, гражданские и национальные войны, переселения, взаимные обязанности колоний и метрополий, общность языка, нравов и религии, торговли, общественные игры, *амфикионный трибунал* — способствовал тому, что эти народности смешивались, разделялись и вновь соединялись на тысячи ладов. В процессе этих переворотов и благодаря этим многочисленным смешениям образовался тот язык, богатый, выразительный и благозвучный, на плодородной ниве которого пышно расцвели все виды изящной словесности.

Поэзия, которая является не чем иным, как искусством давать посредством слова художественные образы, и совершенствование которой столь сильно зависит от гения языка, достигла в Греции неизвестного ей доколе великоления. То было не искусство первобытных людей, у которых поэтическое произведение представляло собой ряд варварских слов, согласованных с размером дикой песни или с ритмом танца — столь же грубого, как и выражаемое им бурное веселье. Поэзия греков отличалась ей одной только свойственной гармонией. Слух, орган наиболее тонкий, был приучен к строгим правилам; и если вследствие этого стали предъявляться более тяжелые требования, то новые выражения и обороты, удачные вольности, соразмерно умножившиеся, давали возможность их удовлетворять.

Вкус осудил, наконец, громоздкие образы, сложные метафоры, в злоупотреблении которыми так повинна поэзия восточных народов.

В тех азиатских странах, где общества скорее приобретали прочное положение, где скорее нарождались писатели, языки закреплялись в состоянии ближе к первоначальному, и поэтому напыщенность, являющаяся следствием изначального несовершенства языка, стала их характерной чертой. Языки

¹ 23-летний Тюрго, таким образом, предугадал событие, которое имело место четверть века спустя. — *Прим. перевод.*

выражают представления людей. В силу этого в первобытные времена существовали наименования только для предметов, наиболее часто воспринимаемых чувствами; для выражения же первичных представлений необходимо было прибегать к метафорам.

Изобретаемое вновь слово ничего не означало; нужно было путем сравнения его с наименованиями идей, подобных тому представлению, которое данное новое слово выражает, направить ум по пути того значения, которое ему желательно придать. Воображение научается улавливать нить некоторого сходства, связывающего наши ощущения с предметами, их вызвавшими. Неполное или отдаленное сходство порождает грубые и частые метафоры, которые употребляются в силу необходимости — более изобретательной, чем изящной, — которые осуждаются вкусом, которыми переполнены примитивные языки и следы которых филологи находят еще в языках даже наиболее культурных народов.

Языки, употребляемые по необходимости всеми людьми, часто людьми гениальными, со временем совершенствуются, когда они не закрепляются сочинениями, становящимися неизменным критерием для суждения об их чистоте. Частое употребление слова беспрестанно приводит к новым сочетаниям идей, заставляет замечать между ними новые отношения, новые оттенки и возбуждает потребность в новых выражениях. Сверх того, благодаря переселениям народов языки смешиваются, как реки, и обогащаются одни при помощи других.

Таким образом, греческий язык, явившийся продуктом смешения многочисленных языков, установившийся позже, чем азиатские языки, отличался гармонией, обилием и разнообразием. Окончательное торжество доставил ему Гомер, обогативший его сокровищами своего гения, и гармоничностью своей поэзии, прелестью своих выражений и величием своих образов; он поднял его на наивысшую ступень совершенства.

Впоследствии свобода, которая благодаря п. р.воротам, естественным в маленьких государствах, установилась во всех городах, на развалинах единовластия, сообщила гению греков новый подъем. Различные формы правления, которые поочередно ниспровергались то происками аристократии, то народными революциями, научили законодателей сравнивать, взвешивать все элементы общества и находить справедливое

равновесие между их силами. В то же время споры и комбинации интересов стольких соседних республик — честолюбивых, слабых и завистливых — заставили государства быть настороже, беспрестанно наблюдать за собой, уравнивать успех соседа союзами и совершенствовать одновременно политику и военное искусство.

Лишь много веков спустя в Греции появляются философы, или, вернее, они появились тогда, когда изучение философии стало уделом некоторых умов, и она казалась достаточно обширной, чтобы занять их всецело. До этого момента поэты были одновременно единственными философами и единственными историками. Среди невежественных людей легко прослыть всезнающим. Но и в эпоху первых философов идеи не были еще достаточно ясны, факты были еще немногочисленны; царство истины еще не наступило; системы греческих философов могли быть только остроумны. Их метафизика, шаткая в наиболее важных истинах, часто суеверная или нечестивая, была только собранием поэтических сказок или набором непонятных слов; и сама их физика была не более, как легкомысленная метафизика.

Мораль, хотя еще несовершенная, менее чувствовала на себе младенчество разума. Возрождающиеся потребности, беспрестанно призывающие человека к обществу и заставляющие его подчиняться законам последнего, — этот инстинкт, это чувство добра и благородства, которое провидение запечатлело во всех сердцах, которое опережает разум, которое часто увлекает его самого помимо его воли, — приводит философов во все времена к одинаковым основным принципам науки о нравственности. Сократ вел своих сограждан по пути добродетели. Платон усыпал этот путь цветами; прелесть красноречия украшала даже его заблуждения. Аристотель, наиболее обширный, наиболее глубокий и наиболее истинно философский ум всей древности, первый внес факел точного анализа в философию искусства, и, открывая принципы достоверности и компетенции чувства, он подчинил неизменным правилам ход разума и даже порыв гения.

Счастливый век, когда все изящные искусства распространили повсюду свой свет! Когда огонь благородного соревнования быстро сообщался из одного города в другой! Живопись, скульптура, архитектура, поэзия, история возвысились всюду одновременно, подобно тому как в большом лесу на

тысяче различных деревьев одновременно произрастают и пока-
зываются их ветвистые верхушки.

Афины, управляемые декретами толпы, ораторы которой по
своему усмотрению то успокаивали, то мучили ее бурные
волны; Афины, где Перикл учил старейшин покупать государ-
ство за счет самого государства, расточать его богатства, дабы
избавиться от необходимости давать о них отчет; Афины, где
искусство управлять народом отождествилось с искусством
его развлекать, доставлять пищу его слуху, глазам, его любо-
пытству, всегда жадному к новостям, к празднествам, к удо-
вольствиям, к непрекращающимся зрелищам, — Афины тем же
порокам своего правительственного механизма, которые
обуславливали их подчинение Лакедемонии, обязаны были своим
красноречием, своим вкусом, этим великолепием и блеском
во всех областях искусства, сделавшим их образцом для
всех народов.

* *

В то время как афиняне, спартанцы, фивийцы последова-
тельно добивались гегемонии над другими городами, македон-
ское могущество, подобно реке, постепенно выходящей из
своих берегов, медленно распространялось в Греции при
Филиппе и стремительно наводнило Азию при Александре.
Эта масса стран, это множество государств, из которых за-
воевания ассирия, мидян и персов, последовательно поглощаясь
друг другом, образовали одно великое тело, как результат
работы стольких завоевателей и стольких веков, вдруг рас-
пались с грохотом после смерти победителя Дария. Войны
между полководцами обуславливали возникновение новых
царств. Сирия, Египет становятся частью Греции и заимствуют
язык, нравы и науки у своих победителей.

Торговля и искусства делают Александрию соперницей
Афин; астрономия и математика были здесь возведены на
ступень, которой они еще раньше не достигали. В особенности
здесь пышно расцвела эрудиция, которая до этого времени
была мало знакома грекам, — та наука, которая занимается
менее вещами, чем книгами, которая менее стремится созда-
вать и открывать, чем собирать, сравнивать и судить то, что
уже создано и открыто, которая не идет вперед, но огляды-
вается назад, чтобы обозреть пройденный путь. Науки, тре-
бующие для своего изучения наиболее крупных дарований,

не всегда предполагают также наивысший умственный прогресс
в общей массе людей. Есть умы, которые природа наделила
памятью, способной сравнивать знания и располагать их так,
чтобы они представлялись во всей их полноте. Но этим умам
она в то же время отказала в смелости гения, изобретающего
и открывающего себе новые пути. Предназначенные соединять
старые открытия, освещать и совершенствовать их, эти умы,
если не являются самоцветными камнями, то, как алмазы,
с блеском отражают заимствованный свет, но в совершенной
темноте они смешались бы с наиболее бесполезными камнями.

Известный тогда мир, мир, если можно так выразиться,
коммерческий и политический, увеличился благодаря завоева-
ниям Александра. Междоусобицы его преемников представ-
ляли собой зрелище более обширное. И в этих столкновениях
и колебаниях могущественных государств расположенные
среди них маленькие греческие города, являясь часто ареной
их сражений и страдая одинаково от опустошений всех вою-
ющих сторон, чувствовали только свою беспомощность.

Красноречие не было уже более двигателем политики. С
этого момента Греция, поверженная гибельными декламациями
в мрак школьных споров, потеряла свою славу вместе со
своей силой.

* *

Между тем Рим в Италии точно в особом мире уже в
течение многих веков непрерывным рядом побед стремитель-
но шел к завоеванию вселенной. Победив Карфаген, он вдруг
занял угрожающее положение среди наций. Народы дрожали
и покорялись. Римляне, завоевав Грецию, узнали новую власть,
власть разума и знаний. Их суровость и дикость смягчились:
Афины обрели учеников среди своих завоевателей, а вскоре
и соперников. Цицерон в Капитолии и в речах с трибуны
обнаружил красноречие, почерпнутое из лекций греков. Но
его поработанные учителя знали только правила этого искус-
ства. Латинский язык, смягченный и обогащенный, просветил
Африку, Испанию и Галлию. Границы цивилизованного мира
совпадали с пределами распространения римского могущества,
и два соперничающих языка — греческий и латинский — раз-
деляли его между собой.

Римские законы, предназначенные для управления одним
городом, были подавлены тяжестью всего мира. Свобода Рима

была потоплена в реках крови. Наконец, Октавиан один собрал плоды гражданских смут. Жестокий узурпатор, но умеренный государь, он дал империи спокойные дни. Его просвещенное покровительство оживило все искусства. Италия имела своего Гомера, правда, менее плодovitого, чем греческий, но более мудрого, более ровного, более гармоничного. Величие, разум и изящество соединились, чтобы создать Горация. Вкус совершенствовался во всех областях искусства.

Познание природы и истины бесконечно, как эти предметы. Искусства, предназначенные для удовлетворения нашего вкуса, ограничены, как мы сами. Время беспрестанно порождает новые научные открытия, но поэзия, живопись, музыка имеют точно определенный предел, обусловленный гением языков, способностью подражать природе и ограниченной чувствительностью наших органов, предел, к которому изящные искусства медленно приближаются, но перейти который они не могут. Великие люди века Августа достигли его и служат еще поныне для нас образцами.

Начиная с этого времени до момента падения империи, я вижу только общий упадок, где все низвергается.

Не поднимаются ли, таким образом, люди только для того, чтобы вновь пасть?

Тысячи причин способствовали извращению вкуса. Тирания, подавлявшая умы тяжестью своего режима; безумная роскошь, которая, являясь порождением тщеславия и рассматривая произведения искусства не столько как объекты вкуса к изящному, сколько как знак богатства, препятствует их совершенствованию, точно так же как просвещенная любовь к великолепию ему благоприятствует; страсть к новшествам у лиц, не наделенных даром изобретения, которая приводит их слишком часто только к искажению старого; подражание недостаткам великих авторов, заменившее даже усвоение их красот, — таковы главные причины упадка. Писатели появлялись во множестве в провинциях и искажали языки. Какие-то остатки древнегреческой философии, смешанной с восточными суевериями и массой пустых аллегорий, с нелепостями магии, овладели умами и заглушили здоровую физику, которая начала зарождаться в сочинениях Сенеки и Плиния Старшего.

Вскоре империя, предоставленная капризам солдат, становится добычей массы тиранов, которые, разрывая ее на части, подвергают провинции разорению и опустошению. Дисципли-

на в армии падает. Варвары севера проникают со всех сторон. Народы обрушиваются на народы, города превращаются в пустыни, поля остаются невозделанными. И Западная империя, ослабленная вследствие перенесения всех сил в Константинополь, отчасти разрушенная благодаря стольким непрекращавшимся опустошениям, наконец, распадается и предоставляет бургундцам, готам и франкам оспаривать друг у друга ее обширные развалины и основывать новые царства в различных частях Европы.

* *

Могу ли я пройти молчанием этот новый свет, который, в то время как империя приближалась к своему падению, распространялся по вселенной, — свет в тысячу раз более драгоценный, чем свет наук и философии! Святая религия! Могу ли я забыть людей, познавших бога и рассеявших, наконец, мрак идолопоклонства! При почти полном упадке литературы, вы только одни выдвигали еще писателей, воодушевленных желанием обучать верующих или отражать нападения врагов веры! И когда Европа сделалась добычей варваров, только вы одни смягчали их дикость! Вы одни увековечили понимание забытого латинского языка! Только благодаря вам до нас дошел через столько веков, так сказать, дух столько великих людей, писавших на этом языке, и только вам мы обязаны сохранением сокровищницы человеческих знаний, готовой исчезнуть.

Но рана человеческого рода была слишком глубока. Нужны были века, чтобы ее исцелить.

Если бы Рим был завоеван только одним народом, его глава сделался бы римлянином, и нация-завоевательница, как и ее язык, растворились бы в населении и языке империи. Тогда совершился бы процесс, неоднократно имевший место в истории мира, — процесс духовного подчинения и поглощения варварского народа-победителя покоренной и просвещенной нацией. Цицерон и Виргиллий отстояли бы латинский язык, как Гомер, Платон и Демосфен защищали свой от римского влияния. Но слишком много народов и опустошений следовали друг за другом; слишком много пластов варварства нагромождалось, чтобы все наносное могло скоро исчезнуть и уступить силе римской цивилизации. Завоеватели, слишком многочисленные, слишком преданные

войне, были в течение многих веков слишком заняты своими внутренними раздорами. Гений римлян угас, и их язык, смешавшись с германскими наречиями, был забыт.

Образующийся новый язык, отличный от каждого из двух смешивающихся, является результатом этого смешения. Но проходит достаточно времени, прежде чем он окончательно формируется. Память, балансируя между двумя языками, останавливается случайно на выражениях одного или другого. Аналогия, т. е. искусство образовывать спряжения и склонения, выражать отношение между предметами, располагать выражения в речи, не имеет более точно определенных правил. Идеи связываются нестройно, гармония и ясность языка отсутствуют. Налейте две жидкости в один сосуд: они будут мутиться, темнеть и вновь станут так же прозрачными, как были до смешения, только тогда, когда время сделает их взаимное проникновение более полным и полученную смесь однородной. Таким образом, пока новый язык в течение длинного ряда веков конструируется, приобретая свой характер и оттенки, поэзия, красноречие и вкус почти всецело исчезают. И пока новые европейские языки зарождались и формировались в хаосе первоначальных латинско-германских наречий, невежество и грубость господствовали повсюду.

Несчастливая империя Цезарей! Новые бедствия преследуют тебя до последних пределов, ускоряя момент твоего падения! Варварство разрушает одновременно все убежища искусств. И ты, Греция, слава твоя ведь померкла! Север, наконец, оказывается обесилленным, и новые тучи надвигаются на юге на те провинции, которые не изведали еще чужеземного ига.

* * *

Знамя ложного пророка объединило всех монахов, блуждавших в пустынях Аравии. Не прошло и ста лет, как Сирия, Персия, Египет, Африка покрылись волнами стремительного потока, охватившего в своих опустошениях пространство от границ Индии до Атлантического океана и Пиринеев. Греческая империя, сжатая в тесных границах, опустошаемая на юге сарацинами и затем турками, на севере болгарами, раздираемая внутри заговорами и частой сменой правителей, впадает в состояние слабости и вялости. И люди, погрязшие в трусливой лени, перестают заниматься усовершенствованием наук и искусств.

Напрасно Карл Великий на западе пытался раздуть некоторые искры огня, покрытого пеплом; их вспышка была так же недолговечна, как и слаба. Вскоре раздоры его вассалов нарушили спокойствие созданной им империи.

Между тем север извергал еще из своих недр новых разрушителей: норманы, венгры покрыли Европу новыми развалинами и новым мраком. Общая слабость монархов обусловила почти повсеместное падение единодержавия. Уничтоженная королевская власть усугубила место массе мелких феодалов, подчиненных друг другу, среди которых ленные законы поддерживали какое-то ложное подобие порядка в атмосфере увековечиваемой ими анархии.

Короли без власти, разнузданные дворяне, порабощенные народы; деревни, покрытые укреплениями и беспрерывно опустошаемые; войны, возникающие между городом и городом, между деревней и деревней, пропитывающие взаимной враждой, так сказать, всю массу королевств; полный застой в торговле, перерыв всех сообщений; города, населенные бедными ремесленниками, учреждения, которые не побуждают к соревнованию; богатство и досуг, погибающие в праздности дворянства, рассеянного там и сям в своих замках и умеющего только предаваться бесполезным для отечества войнам; невежество, наиболее грубое, распространенное на все нации и на все профессии, — такова печальная, но очень похожая картина Европы в течение многих веков.

Тем не менее, из недр этого варварства некогда выйдут науки и усовершенствованные искусства. Среди невежества незаметный прогресс подготавливает блестящие успехи последних веков. Под этой почвой развиваются уже слабые корни будущей жатвы. Города у всех просвещенных народов являются, по своей природе, центром торговли и общественных сил. Они стали сильными. И если феодальное законодательство — продукт сочетания старых германских обычаев с случайными обстоятельствами — их унижало, то это было противоречием в государственном строе, которое должно было со временем исчезнуть. Вскоре города благодаря покровительству королей пробуждаются. Государи, простирая руки народам, ослабляют своих вассалов и постепенно восстанавливают свою собственную власть.

В университетах уже изучали латынь, богословие с диалектикой Аристотеля. Арабы издавна усвоили греческую фило-

софию, и их знания распространялись на западе. Они успешно разрабатывали математические науки, которые более, чем всякие другие, независимы от совершенства вкуса и, может быть, даже от справедливости разума. Изучение их неминусом приводит к истине. Однако всегда ясные, чистые математические истины появились на свет, окруженные заблуждениями астрологии. Нелепые надежды на открытие философского камня, побуждая арабских философов отделять и соединять элементы тел, обусловили зарождение под их руками необъятной науки — химии. Эта наука распространилась всюду, где люди могут быть обмануты своими алчными желаниями. Наконец, механические искусства совершенствовались во всех областях в силу только влияния времени, ибо, ввиду того что и в период упадка наук и порчи вкуса жизненные потребности не становятся менее настоятельными, невозможно, чтобы среди массы лиц, деятельность которых направлена к удовлетворению этих потребностей, т. е. среди ремесленников, не встретился какой-нибудь из тех гениальных людей, которые смешаны с остальными смертными, как золото с песком.

Какая масса изобретений, неизвестных древним и обязанных своим появлением варварскому веку! Ноты, векселя, бумага, оконное стекло, большие зеркальные стекла, ветряные мельницы, часы, зрительные трубы, порох, компас, усовершенствованное мореходное искусство, упорядоченный торговый обмен и т. д. и т. д.

Искусства суть не что иное, как умение использовать силы природы, и практическое применение искусств является только рядом физических опытов, благодаря которым эти силы все более и более открываются. Факты накапливаются во мраке невежественных времен, и науки, прогресс которых совершается хотя незаметно, но непрерывно, должны когда-нибудь возродиться, увеличенные новыми богатствами, подобно тем рекам, которые, скрываясь некоторое время от наших взоров в подземном канале, вновь появляются на отдаленном расстоянии более широкими, вследствие притока всех подпочвенных вод.

Разнообразные следствия событий, совершающихся в различных концах мира, различными путями стремятся к одной конечной цели — поднять человеческий разум из его развалин. Так, в течение ночи звезды последовательно появляются на

небе и обегают каждая свою орбиту кажется, что они в своем общем передвижении увлекают с собой всю небесную сферу и приводят нам наступающий вслед за их удалением день.

Германия, Дания, Швеция, Польша, благодаря заботам Карла Великого и Оттоманов, Россия, благодаря торговле с греческой империей, — постепенно утрачивали свою первоначальную дикость. Христианство, собирая варварские народы, закрепляя их в городах, уничтожило навсегда источник наших несчастий, столько раз губительно отражавшихся на науках. В Европе царит еще варварство, но свет знаний распространяется на народы еще более варварские, оказывая на них весьма благотворное влияние. Постепенно исчезают нравы, занесенные из Германии на юг Европы. Народы в период борьбы дворянства с государями начинают вырабатывать себе принципы более прочного образа правления, которые в силу разнообразия условий существования каждого народа приобретают особенности, отличающие их друг от друга. Войны против мусульман в Палестине, являясь общим делом всех христианских государств, способствуют их взаимному сближению и объединению, бросают семена той новой политики, которая рассматривает столько наций, как образующие как бы единую обширную республику.

Во Франции вновь возрождается королевская власть; в Англии устанавливается народовластие; итальянские города превращаются в республики и воссоздают картину древней Греции; маленькие монархии Испании изгоняют мавров и постепенно сливаются в одно государство.

Вскоре, благодаря изобретению компаса, моря, разделявшие раньше народы, становятся для них связующими звеньями. Португальцы на востоке, испанцы на западе открывают новые миры. Вселенная, наконец, становится известной.

Смешение варварских языков с латинскими породило уже в преемственности веков новые языки. Из них итальянский, менее удаленный от их общего источника, более свободный от чужеземных элементов, первый достигает изящества стиля и красот поэзии.

Оттоманы, распространяясь в Азии и Европе с быстрой порывистого ветра, окончательно разрушают Восточную империю и рассеивают на западе слабые искры наук, сохранившихся еще в Греции.

Но вот нарождается новое искусство, которое заставляет произведения и славу появляющихся великих людей распространяться повсеместно, которое ускоряет прогресс во всех его видах.

В течение двух тысяч лет граверы, изготовляя медали, показывают людям возможность делать оттиски на меди, и лишь спустя столько веков обыкновенному смертному приходит в голову мысль, что можно делать оттиски на бумаге. Вскоре сокровища древности, извлеченные из пыли, становятся для всех доступными, проникают всюду, освещают путь талантам, которые затерялись бы во мраке, призывают гений из глубины его убежища.

Момент наступил. Европа, выйди из покрывающего тебя мрака! Бессмертные имена Мёдичи, Льва X, Франциска I, будьте святы навсегда! Сколько покровителей искусств разделяют славу тех, которые их разрабатывают!

Приветствую тебя, о Италия! Счастливая страна, ставшая вторично отечеством наук и вкуса, источником, воды которого разлились кругом широкой рекой, оплодотворяя нашу почву. Франция созерцает твои успехи еще только издали. Ее язык, зараженный еще остатками варварства, не может за ними поспевать. Вскоре гибельные смуты взволновали всю Европу. Смелые люди поколебали основы веры и власти. Могут ли цветущие стволы изящных искусств расти, поливаемые кровью? Настанет день, и он уже близок, когда они украсят все страны Европы.

Время, расправь свои быстрые крылья! Век Людовика, век великих людей, век разума, спешите!

Благосостояние государств, долго неустойчивое в период религиозных волнений, точно в силу последнего толчка уже приобрело, наконец, разумную прочность. Упорное изучение древности вновь подняло умы на тот уровень, на котором она остановилась. Масса фактов, опытов, орудий и остроумных приемов, накопленных в течение стольких веков практическим применением искусств, уже извлечена из мрака благодаря книгопечатанию. Продукты двух миров, собранные всеобъемлющей торговлей, легли в основание физики, дотоле неизвестной, избавленной, наконец,

от чуждых ей умозрений. Внимательные взоры со всех сторон сосредоточены на природе. Малейшие благоприятные случаи природы порождают открытия. Сын зеландского ремесленника, играя, составил из двух выпуклых стекол первую зрительную трубку. Границы, доступные нашим чувствам, были раздвинуты, и в Италии глаза Галилея открыли новое небо. Кеплер, отыскивая в светилах числа Пифагора, нашел два знаменитых закона о движении планет, которые впоследствии под руками Ньютона сделаются ключом вселенной. Бэкон начертал потомство путь, по которому оно должно следовать.

Но вот смертный дерзает отбросить знания всех эпох и даже понятия, которые он считает наиболее ясными. Он точно хочет потушить факел наук, чтобы его вновь зажечь у чистого огня разума. Не хотел ли он подражать тем народам древности, у которых считалось преступлением зажигать у чужих костров огонь, долженствовавший гореть на алтаре богов? Великий Декарт! Если тебе не дано было всегда находить истину, ты, по крайней мере, разрушил тиранию заблуждения.

Франция, которую Испания и Англия уже опередили в поэтической славе, Франция, гений которой сформировался, лишь когда философский дух стал распространяться, обязана была, быть может, этой самой медленности точностью, методичностью и строгостью вкуса ее писателей. Но лукавые и изысканные мысли, тяжеловесная и показная эрудиция портят еще нашу литературу.

Какое различие между развитием вкуса у нас и у древних! Реальный прогресс человеческого разума обнаруживается даже в его заблуждениях. Причуды готической архитектуры недоступны людям, обитающим в деревянных хижинах. Приобретение знаний у первобытных людей и образование вкуса шли, так сказать, одинаковыми шагами. Поэтому их уделом была примитивная грубость и слишком большая простота. Руководимые инстинктом и воображением, они постепенно улавливали отношения между человеком и предметами природы — отношения, являющиеся единственными основаниями красоты. В последующие же эпохи, когда, невзирая на несовершенство вкуса, количество идей и знаний увеличилось, когда изучение образцов и правил скрыло от глаз природу и заглушило чувства, нужно было путем размышления возвратиться к тому пункту, куда первобытных людей привел слепой инстинкт.

И кто не знает, что именно это возвращение является самым высшим усилием разума?

Наконец, все тучи рассеяны. Какой яркий свет загорелся со всех сторон! Какая масса великих людей во всех областях! Какое совершенство человеческого разума! Человек (Ньютон) подверг исчислению бесконечное; открыл свойство света, который, освещая все, сам как бы скрывается; привел в равновесие светила, землю и все силы природы. Этот человек встретил соперника. Лейбниц обнимает своим обширным умом все предметы человеческого разума. Различные науки, ограниченные сначала небольшим количеством простых понятий, доступных всем, став благодаря своему прогрессу более обширными и более трудными, могут быть отныне рассматриваемы только отдельно. Но дальнейшие научные успехи сближают их и открывают взаимную зависимость, существующую между всеми истинами, которая, связывая их, освещает одну истину посредством другой. Ибо если каждый день добавляет новое к бесконечности наук, то с каждым днем они становятся также более понятными. Ибо методы умножаются наряду с открытиями, ибо леса воздвигаются одновременно со зданием.

О, Людовик! Какое величие окружает тебя! Какой блеск твоя благотворительная рука распространила на все искусства! Твой счастливый народ стал центром просвещения! Соперники Софокла, Менандра, Горация, соберитесь вокруг его трона! Нарождайтесь, ученые академики! Соедините ваши труды для прославления его царствования! Какая масса общественных памятников, произведений гения, вновь изобретенных искусств, усовершенствованных старых искусств! Кто мог бы нарисовать эту величественную картину! Откройте глаза и смотрите!

Век Людовика Великого. Пусть твой свет украшает царствование преемника! Пусть этот свет горит вечно ярким пламенем, и да распространится он по всей вселенной! Дабы люди могли непрерывно делать новые шаги по пути к достижению истины! Дабы они могли, что еще важнее, беспрестанно делаться лучше и счастливее!

* *

Среди этих переворотов в мнениях, науках, искусствах и во всем том, что не чуждо человеку, наслаждайтесь, господа, созерцанием этой религии, которой вы посвятили ваши сердца

и ваши таланты, пребывающей всегда неизменной, всегда чистой, всегда цельной, увековечивающейся в церкви и сохраняющей все черты печати, которой ее отметило божество. Вы будете ее хранителями и окажетесь достойными своего высокого назначения. Факультет ждет от вас своей славы, французская церковь своих знаний, религия своих защитников. Гений, эрудиция и благочестие, объединившиеся в вашем лице, служат прочным основанием для этих надежд.

РАССУЖДЕНИЕ О ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

(План двух рассуждений)

ИДЕЯ ВВЕДЕНИЯ

Помещенный своим творцом среди вечности и бесконечности и занимая в ней только точку, человек имеет необходимые отношения со множеством вещей и существ, в то же время его идеи сосредоточены в нераздельности его ума и настоящего момента. Он познает себя только посредством своих ощущений, которые все обусловлены внешними предметами, и настоящий момент является центром, объединяющим массу идей, сплетенных друг с другом.

Именно из этого сплетения и из порядка законов, согласно которым совершаются непрерывные изменения всех его идей, человек черпает сознание действительности. Благодаря отношению, существующему между всеми его различными ощущениями, он познает существование внешних предметов. Подобное отношение в последовательности его идей открывает прошедшее. Отношение существ между собой отнюдь не является недействительным. Все могут действовать друг на друга согласно их различным законам и также в зависимости от отделяющих их расстояний. Этот реальный мир, границ которого мы не знаем, существует для нас в чрезвычайно тесных пределах, размеры которых зависят от большего или меньшего совершенства наших чувств. Мы знаем небольшое число звеньев цепи, но начало и конец ее нам одинаково неизвестны.

Законы, которым подчинены тела, образуют физику: они вечно неизменны, их описывают, но не рассказывают. История животных и история человека представляют совершенно отличное зрелище. Человек, как и животные, наследует другим людям, дающим ему жизнь, и он, как они, видит себе подобных распространенными на поверхности обитаемого им земного шара. Но, одаренный более обширным умом и более активной

свободой, он вступает с другими людьми в гораздо более многочисленные и разнообразие отношения. Владея сокровищем знаков, которые он сумел умножить почти до бесконечности, он может обеспечивать себе обладание всеми приобретенными идеями, сообщать их другим людям и передавать их своему потомству как постоянно увеличивающееся наследство. Беспрерывное сочетание этих успехов со страстями и обусловливаемыми ими событиями образует *историю человеческого рода*, где каждый человек является только частью бесконечного целого, имеющего, как и он, свое младенчество и свой прогресс.

Таким образом, *всемирная история* обнимает собой рассмотрение последовательных успехов человеческого рода и подробное изучение вызвавших их причин. Сюда относятся первые шаги людей; образование и смещение наций; происхождение правительств и их перевороты; прогресс языков, успехов физики, морали, нравов, наук и искусств; революции, благодаря которым сменялись одни за другими империи, нации, религии, между тем как человеческий род оставался всегда неизменным в своих потрясениях, как морская вода во время бури, и всегда шествовал к своему совершенствованию. Она должна вскрыть влияние общих и необходимых причин, влияние частных причин и свободных поступков великих людей и отношение всего этого к организации самого человека; она должна показать пружины и механизм моральных причин на их следствиях — вот то, что является историей в глазах философа. Она опирается на географию и хронологию, изменяющие расстояния времен и мест.

Представляя в этом плане картину человеческого рода, проследивая почти исторический порядок его прогресса и останавливаясь только на главных эпохах, я хочу лишь указать, а не углублять, дать очерк великого труда и открыть широкий горизонт, не обозревая его, подобно тому как через маленькое окно мы видим всю бесконечность неба.

ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ И СМЕЩЕНИЕ НАРОДОВ

(План первого рассуждения)

Вся вселенная говорит мне об изначальном существе. Я вижу всюду печать руки бога. Если я хочу нечто познать точно, то этому препятствует окружающий меня мрак. Я вижу, как ежедневно изобретаются искусства, я вижу в некоторых частях света народы цивилизованные, просвещенные, а в других — народы, блуждающие в лесных чащах. Это неравенство прогресса должно было бы исчезнуть в вечности. Мир, таким образом, не вечен, но я должен в то же время заключить, что он очень стар. В какой степени? Не знаю.

Исторические времена не могут восходить выше изобретения письменности; и, когда она была изобретена, она сначала могла служить только для описания смутных преданий или некоторых главных фактов, не отмеченных никакой датой и смешанных с мифом так, что их невозможно отличить.

Гордость побуждала нации относить свое происхождение очень далеко в глубь веков. Но до изобретения чисел люди по отношению к продолжительности времени едва распространяли свои представления далее немногих известных им поколений, т. е. трех или четырех. Только в течение векового или полуторавекового периода предание может без помощи истории указать эпоху известного факта. Поэтому никакая история не восходит значительно выше изобретения письменности, если это только не мифическая хронология, которую позаботились составить только тогда, когда народы, открывая друг друга благодаря своей торговле, обратили свою гордость в зависть

Среди этого безмолвия разума и истории одна книга служит нам сокровищницей откровения. Она говорит нам, что этот мир существует шесть или восемь тысяч лет (в зависимости от экземпляра книги); что мы все ведем свое происхождение от одного человека и от одной женщины; что вследствие наказания за их ослушание человек, рожденный для более счастливой жизни, был обречен на невежество и нищету, от которых его отчасти могут избавить только сила времени и труд. Она нам наивно описывает изобретения примитивных искусств — плоды первых потребностей — и последовательность поколений до того момента, когда человеческий род, почти всецело поглощенный всемирным потоком, вновь сократился до одной семьи и, следовательно, вынужден был возобновляться.

Эта книга, таким образом, отнюдь не препятствует нашим исследованиям о том, как люди распространялись на земле и как слагались политические общества. Она дает этим интересным событиям новый отправной пункт, подобный тому, который мы избрали бы, если бы факты, которые она рассказывает, не стали бы предметом нашей веры.

* *

Среди лесов без съестных припасов можно было заботиться только о самом насущном. Плоды, произвольно произрастающие на земле, слишком недостаточны; нужно было, таким образом, прибегать к охоте на животных; последние, являясь вследствие своей малочисленности недостаточным источником питания для все увеличивающегося на небольшом пространстве населения, ускорили рассеяние народов и их быстрое смешение.

Семейства или маленькие племена, весьма удаленные друг от друга, ибо каждому для добывания себе средств существования нужно было обширное пространство, — таков охотничий быт. Они не имеют постоянного жилища и с чрезвычайной легкостью перекочевывают с одного места на другое. Трудность добывания средств существования, раздоры, опасение мести врага являются достаточными причинами для того, чтобы семейства охотников отделялись от остальной части своего племени.

Они идут тогда без определенного направления туда, куда ведет их охота. И если иногда охота вновь приводит их

на знакомую дорогу, они стремятся от нее удалиться. В силу этого племена, говорящие на одном и том же языке, часто оказываются удаленными друг от друга на расстояние более шестисот миль и окруженными народами, которые их не понимают, — явление, обычно наблюдаемое среди диких людей Америки, где вследствие той же причины встречаются племена в 15 или 20 человек.

Нередко, однако, войны и раздоры, в мотивах к которым варварские народы очень изобретательны, обуславливали смешение многих племен в один народ ввиду общего сходства нравов и языка, разделенного только на множество наречий.

Обычай диких людей Америки принимать в свою среду военнопленных на место потерянных в сражениях своих единоплеменников должен был сделать эти смешения чрезвычайно частыми. Некоторые языки поэтому господствуют на обширных пространствах: таков язык гурунов вблизи реки Сен-Лоран, язык алгонкинов по склону, ведущему к Миссисипи, язык мексиканцев, ийков, топинамбу в Бразилии и гваранов в Парагвае. Великие горные цепи обычно служат для них границами.

Некоторые животные, как быки, бараны, лошади, позволяют себя приручить, и люди находят более выгодным соединять их в стада, чем гнаться за животными дикоблуждающими. Пастушеская жизнь вскоре установилась всюду, где эти животные встречались: быки и бараны в Европе, верблюды и козули на Востоке, лошади в Монголии, олени на Севере.

Охотничий быт сохранился в тех частях Америки, где эти виды животных отсутствуют; в Перу, где природа произвела вид быков, называемых ламами, образовались пастушеские племена, и, вероятно, в силу этой причины эта часть Америки легче просвещалась.

Пастушеские народы, имея более обильные и более обеспеченные средства существования, были более многочисленны. Они стали более богатыми и более прониклись духом собственности.

Честолюбие, или, вернее, жадность, заменяющая честолюбие у варваров, могла им внушить склонность к грабежу и в то же время желание и смелость сохранять награбленное. Стада доставляют их обладателям затруднения, которых не знают охотники, и они прокармливают гораздо больше людей, чем это нужно для ухода за ними. Отсюда должна была об-

разозваться несоразмерностью между быстротой движений праздных людей и наций. Поэтому народ не мог избежать сражения с отрядом решительных людей,— как охотников, так и членов других пастушеских племен, которые, победив, становились хозяевами стад и которые иногда также прогонялись пастухами-всадниками, если стада последних состояли из лошадей и верблюдов. И так как страх голодной смерти удерживал побежденных от бегства, то они подвергались участи животных и становились рабами победителей; последние кормили их взамен за труд по охране их стад. Хозяева, освобожденные от всяких забот, отправлялись подчинять таким же образом другие племена. Так слагались маленькие нации, которые в свою очередь образовали великие. Эти народы, таким образом, распространялись на всем континенте, пока непреодолимые для них преграды не останавливали их.

Набеги пастушеских народов оставляют больше следов, чем нападение охотников. Восприимчивые благодаря своему досугу к большому количеству желаний, первые стремились туда, где они надеялись на добычу. Они оставались там, где находили пастбища, и смешивались с туземным населением.

Пример одних поощрял других. Эти потоки увеличивались во время их передвижений, и народы и языки беспрерывно смешивались.

Эти завоеватели, однако, скоро рассеялись. Когда нечего было более грабить, их различные орды не находили более выгодным оставаться вместе, и, сверх того, размножение стад вынуждало их отделяться. Каждое племя имело своего начальника. Только главный вождь или наиболее воинственный пользовался некоторым превосходством над другими среди своего племени и требовал в знак почтения некоторых преподношений.

Наконец, возникли ложные идеи о славе; то, что раньше делалось ради грабежа, совершалось теперь во имя господства, во имя поднятия своего племени выше других, когда торговля открывала народам преимущества чужих стран, набеги совершались с целью заменить бесплодную страну на плодородную.

Всякий более или менее честолюбивый князь совершал набеги на земли своих соседей и расширял свои владения, пока не встречал на своем пути соседа, способного сопротивляться ему, тогда они сражались; победитель увеличивал свое

могущество за счет побежденного и пользовался им для новых завоеваний.

Отсюда все нашествия варваров, часто опустошавших землю,— эти приливы и отливы, составляющие всю их историю.

Отсюда эти различные названия, которые последовательно носили народы одних и тех же стран и разнообразие которых запутывает исследование ученых. Название господствующей нации становилось общим для всех других, которые, тем не менее, сохраняли каждая свое частное название. Таковы были мидийцы, персы, кельты, тевтоны, кимвры, вебы, германцы, аллеманы, скифы, готы, гунны, турки, татары, монголы, мантигу, калмыки, арабы, бедуины, берберы и т. д.

Завоевания не были одинаково обширны. То, что не останавливало сто тысяч человек, служило препятствием для десяти тысяч. Поэтому было гораздо большее количество мелких завоеваний в странах, отрезанных от остального мира. Здесь перевороты должны были быть чаще и нации более смешаны. Реки, в особенности горные цепи и моря, представляли собой непреодолимые преграды для многих из этих маленьких Атилл. Таким образом, рассеянные мелкие племена, обитавшие между горными цепями, реками и морями, вследствие многочисленных революций объединились и слились вместе. Их наречия, нравы благодаря тесному сближению приобретали однообразный характер.

Вне этих первоначальных естественных преград завоевания были более обширными и смешение не столь частым.

Обычаи и своеобразные наречия создают различные народы. Всякое препятствие, затрудняющее сообщение, следовательно, и расстояние, являющееся одним из этих препятствий, укрепляет отличительные оттенки наций; но вообще народы одного материка смешались через посредствующие звенья: галлы с германцами, последние с сарматами — и так до границ, создаваемых великими морями. Отсюда сходство обычаев и слов у народов, весьма друг от друга отдаленных и весьма различных. И вообразив на минуту окрашенными границы, проводимые во все концы континента нациями, я точно вижу, как языки, нравы, даже фигуры образуют ряд заметных постепенностей; каждая нация является оттенком окружающих ее соседей. То все нации смешиваются, то одна сообщает другой то, что она сама позаимствовала. Но почти все эти революции остаются в неизвестности: они оставляют не более

следов, чем буря на море. Только, когда они захватывают в своем движении просвещенные народы, память о них сохраняется.

Пастушеские народы, находившиеся в плодородных странах, без сомнения, первыми перешли к земледельческому состоянию. Наоборот, племена, промышлявшие охотой, лишены помощи животных для удобрения полей и для облегчения работы, не могли так скоро перейти к земледелию. Если они обрабатывают некоторые участки, то лишь в весьма ограниченных размерах. Когда земля истощена, они переносят свои жилища в другое место; и если они в конце концов оставляют кочевой образ жизни, то только в результате бесконечно медленного прогресса.

Земледельцы, естественно, не являются завоевателями: труд по обработке земли слишком поглощает их; но будучи более богатыми, чем другие народы, они вынуждены защищаться против насилия. Сверх того, земля питала у них гораздо большее количество людей, чем это нужно было для хлебопашества. Отсюда праздные люди; отсюда города, торговля, все искусства — как полезные, так и служащие просто для развлечения; отсюда более быстрый прогресс всякого рода, ибо все следует за общим движением разума. Отсюда большая искусность в ведении войны, чем у варваров; отсюда разделение профессий и неравенство между людьми. Вследствие увеличения богатств рабство становится домашним; порабощение более слабого пола (всегда связанное с варварством) становится более жестоким. Но в то же время зарождается более глубокое изучение идеи государства.

Горожане, более знающие, чем деревенские жители, занимали по отношению к последним господствующее положение; или вернее, деревня, ставшая благодаря своему местоположению центром, где окружные жители собирались по торговым делам, и, следовательно, более многолюдной, проникалась завоевательными стремлениями и, оставляя в других селениях только тех, которые были необходимы для обработки земель, привлекала к себе либо путем порабощения, либо соблазняя властью и торговлей наиболее важных граждан. Слияние, соединение правительственных органов становится более тесным, более прочным. В городах благодаря досугу наряду с талантами развиваются страсти.

Честолюбие усиливается, политика открывает для него но-

вые перспективы, которые успехи разума расширяют: отсюда многочисленные формы правительств. Первоначальные формы были неизбежными продуктами войн и, следовательно, предполагали правление одного. Не нужно думать, что люди когда-либо добровольно поставили бы над собой *господина*, но они часто соглашались подчиняться *начальнику*. И сами честолюбцы, создавая великие нации, содействовали видам providения, успехам просвещения и, следовательно, увеличению счастья человеческого рода, о котором они совершенно не заботились. Они бессознательно шли туда, куда толкали их страсти и неистовства. Я представляю себе несметную армию, всеми движениями которой руководит великий гений. При виде военных сигналов, услышав шумные звуки труб и барабанов, целые эскадроны приходят в движение, даже лошади дышат огнем; каждая часть идет своей дорогой, преодолевая встречающиеся на пути препятствия, не зная, какие могут быть достигнуты результаты. Один только главнокомандующий видит конечную цель всех этих комбинированных движений. Так страсти умножали идеи, распространяли знания, усовершенствовали умы, заменяя отсутствовавший разум, день которого еще не настал и который был бы не менее сильным, если бы его царство наступило раньше.

Разум, тождественный с самой справедливостью, не лишил бы никого того, что ему принадлежало, изгнал бы навсегда войну и захваты, оставил бы людей разделенными на массу отдельных наций, говорящих на разных языках. Ограниченный в силу этого в своих идеях, не способный ко всякого рода духовному прогрессу, к успехам в области наук, искусств и администрации, являющийся продуктом объединенных усилий гениальных людей различных стран, человеческий род остался бы навсегда посредственным. Разум и справедливость, будучи лучше услышанными, закрепили бы все в начальном состоянии, как это почти случилось в Китае. Но то, что никогда не бывает совершенным, не должно никогда всецело закрепляться. Бурные и опасные страсти стали началом деятельности и, следовательно, прогресса; все то, что заставляет людей выйти из состояния неподвижности, все то, что раскрывает перед ними разнообразные зрелища, — расширяет их умственный кругозор, просвещает, воодушевляет их и впоследствии ведет их к добру и истине, куда они стремятся в силу своей естественной склонности, — подобно тому как пшеница, просе-

янная несколько раз великой, вследствие своей собственной тяжести каждый раз вновь падает на дно, очищаясь все более и более от портящих ее легковесных зерен.

Есть страсти спокойные, которые всегда необходимы и которые развиваются тем более, чем человечество достигает большего совершенства; есть другие — бурные и жестокие, как ненависть, месть, которые более развиты в варварские времена; они также естественны и, следовательно, также необходимы. Их вспышки приводят к спокойным страстям и улучшают их. Так, болезненный процесс брожения является непременным условием приготовления хорошего вина.

Люди, умудренные опытом, становятся более гуманными. Поэтому в последние времена великодушие, добродетели, мягкие нравы, беспрерывно распространяясь, по крайней мере, в Европе, как будто уменьшили силу мести и национальной ненависти. Но прежде чем законы могли смягчить нравы, эти отвратительные страсти были, однако, необходимы для защиты отдельных лиц и народов. Они являются, если можно так выразиться, помочами, на которых природа и ее творец вели человеческий род в младенчестве.

Туземец Америки еще и теперь варвар, а в первобытные времена человек был во всем остальном мире почти всегда жесток по отношению к иностранцам. Эта слепая привязанность к своему отечеству, которая была столь сильно развита в нем, пока христианство и затем философия не научили его любить всех людей, подобна состоянию тех животных, которые в течение зимы покрываются густой и грубой шерстью, которая должна спадать весной; или, если угодно, его примитивные страсти подобны первым листьям, покрывающим и скрывающим новый стебель растения и увядающим по мере появления других листьев, пока, благодаря последовательным произрастаниям, этот стебель не покажется и не будет увенчан цветами и плодами. Эта теория отнюдь не является оскорбительной для провидения. Совершенные злодеяния были преступлениями человека. Совершившие их отнюдь не были счастливы, ибо преступные страсти не могут доставлять счастья. Те, которые противопоставляли последним великодушие и любовь, получили первую награду в бодрящем чувстве добродетели. Борьба тех и других увеличила знания и таланты всех и сообщила познанию добра характер достоверности, которая с каждым днем увеличивается, и привлека-

тельность, которая в конце концов будет господствовать над всеми сердцами. Вселенная, рассматриваемая, таким образом, в большом масштабе во всей ее сложности, во всей обширности ее прогресса, является наиболее славным зрелищем для руководящей ею мудрости.

Только вследствие потрясений и опустошений нации распространялись, администрация и формы правления постепенно совершенствовались. Подобно тому как в американских девственных лесах, столь же старых, как и мир, из века в век дубы наследовали друг друга, из века в век они, падая на землю, обогащали почву всеми плодородными соками, которыми воздух и дожди их наделяли, а обломки одних, став для производившей их земли новым источником плодородия, сохранили для производства новые побеги, еще более сильные и более крепкие, — так на всей поверхности земли одни формы правления сменяли другие, империи поднимались на развалинах империй, рассеянные обломки снова соединялись. Прогресс разума при примитивном государственном строе, не затрудняемый принудительностью несовершенных законов, устанавливаемых абсолютной властью, более способствовал устройству нового. Умножившиеся завоевания расширили государства; бессилие варварского законодательства и ограниченной администрации заставило их разделиться. Здесь народы, утомленные анархией, бросились в объятия деспотизма; там тирания, доведенная до излишеств, обусловила зарождение свободы. Ни одно изменение не совершалось без того, чтобы не дать в итоге какой-нибудь выгоды, ибо каждое служило опытом, ибо каждое распространяло, улучшало или подготавливало просвещение. Лишь спустя много веков и благодаря кровавым революциям деспотизм и свобода, наконец, сами научились умерять себя и регулировать свою волю; состояние государств стало менее шатким и более прочным. И таким образом, попеременно, переходя от волнения к спокойствию, от добра ко злу, вся масса человеческого рода беспрерывно шествовала к своему совершенствованию.

* *

В первых раздорах, возникавших между нациями, воля человека, превосходившего других силой, богатством или умом, имела решающее значение; затем он подчинял себе тех самых, которых он защищал.

Одною этого превосходства достаточно, чтобы обладающий им становился начальником группы людей. Не вполне верно, что честолюбие является единственным источником власти. Народы всегда были склонны избирать себе начальника, но они всегда хотели видеть его разумным и справедливым, а не безрассудным и самовластным.

У малочисленных наций деспотическая власть не может упрочиться. Власть начальника может здесь опираться только на народное согласие или на благоговение, питаемое народом либо к личности, либо к семейству. Обожание личности ослабевает вследствие злоупотребления властью, и это же злоупотребление является и во втором случае также мотивом революций, имеющих целью предоставить трон другому представителю семьи, сумевшему лучше удовлетворить мнение.

У маленьких народов весь государственный механизм работает на глазах у всех. Всякий непосредственно разделяет выгоды, доставляемые обществом, и не может находить очень большого интереса в замене существующего строя другим.

Здесь нет достаточно богатств, которые можно было бы произвольно употреблять для подкупа предателей. Нет черни: господствует своего рода равенство. Цари здесь не могли бы жить отдельно от своих подчиненных: народ неизбежно является для них единственной гвардией и единственным двором. Они его лучше любят, и, когда они мудры, они также более любимы. Если они безрассудны, конец их царствования быстро наступает; сопротивление может быть оказано, ибо народу легко собраться. И средство и искусство заставлять огромное большинство вопреки его воле подчиняться не могут существовать. Пятьсот тысяч человек могут поработить пятьдесят миллионов, но двумстам никогда не удастся поработить двадцать тысяч, хотя соотношение такое же, как и в первом случае. Вот почему деспотизм никогда не прививался у народов, разделенных на мелкие племена, — у диких татар, кельтов, арабов и т. д., по крайней мере, пока суеверное убеждение не ослепляло умы, как у последователей Магомета. И вот почему также сама монархия, которая всюду являлась первоначальной формой правления, — так как гораздо легче командовать людьми, чем склонять их к взаимному согласию, и потому, что военный авторитет, всегда представленный в лице одного, должен был сделать естественным и часто необходимым подобное сосредоточение гражданской власти, —

была спустя некоторое время заменена республикой во всех городах с прилегающими к ним областями или отдаленными колониями. Дух равенства не мог быть изгнан, ибо дух торговли там господствовал. Промышленность объединенных людей никогда не замедляет доставлять им господство в городах, когда их нравы не испорчены, и они не увлечены общим стремлением образовать обширное государство, когда они не заражены духом деспотизма, преобладавшим у азиатских народов, или, как у древних франков, военным духом дворянства, жившего в деревнях и позаимствовавшего свои первоначальные привычки у кочевых наций, неспособных заниматься торговлей. А дух торговли предполагает существование права собственности, независимого от всякой другой силы, кроме силы законов, поэтому он не может привиться в недрах восточных насилий.

В государствах, сокращенных до одного города, царская власть не могла долго продержаться. Ее малейшие притеснения являются и кажутся более тираническими, и тирания имеет там меньше силы и встречает более энергичное сопротивление. Царская власть там легче вырождается. Страсти человека там были теснее связаны со страстями государя. Богатство или жена частного лица могли соблазнять его или его приближенных. Стоя близко к своим подданным, он явственнее замечал их оскорбления, он был более способен вспылать гневом. В эпоху младенчества человеческого разума государь, естественно, мог возмущаться препятствиями, которые законы ставят его страстям, и не видеть, что это средостение между ним и его народом защищает его против своих подданных не меньше, чем подданных против него. Но, так как он никогда не являлся сильнейшим в маленьком государстве, то злоупотребление властью, которое должно было там чаще иметь место, было там также менее обеспечено от возмущения как необходимого следствия такого правления. Поэтому республики, которые сначала были аристократическими, являются более тираническими, чем монархия, ибо нет ничего более ужасного, как подчиняться толпе, которая умеет всегда возводить свои страсти в добродетели; эти республики в то же время более устойчивы, потому что народ там более унижен. Сильные и слабые объединяются против тирана, но аристократическому сенату, в особенности, если он наследственный, приходится бороться только с чернью.

Невзирая на это, республики, пространственно ограниченные одним городом, естественно, стремятся к демократии, которая также имеет свои крупные недостатки.

Только колонии и завоевания могли распространить господство города. Колонии могли образоваться по соседству с городом только в первые эпохи. Вскоре участки, лежавшие вокруг городов, оказались занятыми. Колонии стали тогда возникать в отдаленных местах и, следовательно, были связаны с метрополией лишь до тех пор, пока они не были достаточно прочно устроены, чтобы самостоятельно распоряжаться своей судьбой, как те провинции, которые оставались верными трону, пока они достаточно не укреплялись, и которые тогда разрывали эту связь по малейшему поводу, подобно плодам, которые держатся на деревьях, пока созревают, и затем, став спелыми, надают на землю и служат зародышами для новых деревьев. Между тем отношения между колониями и метрополией выражаются довольно естественной метафорой: мать и дочь. Люди, которые во все времена были связаны своим собственным языком, вносили в эти выражения понятие об аналогичных обязанностях, и выполнение этих обязанностей долгое время поддерживалось единственно силой обычаев. Последние всегда находят защитников среди людей, которых они порабащают, как законы, власть которых они поддерживают.

Города редко делают завоевания. Они отдаются этому, лишь когда они, так сказать, ничего лучшего не могут делать. И, сверх того, между ними существует род равновесия и зависть, достаточно сильная, чтобы побуждать их к образованию союзов против города, который слишком возвысился бы.

Любовь к отечеству делает, в особенности в республиках, почти невозможным уничтожение независимости города силами, равными его собственным.

Наконец, город редко является завоевателем, по крайней мере, если этому не благоприятствует особенное сочетание его внутреннего строя с внешними обстоятельствами, что, как я полагаю, имело место только для римского народа. Но когда города подчинялись еще царям, было легче делать завоевания. Воиственный царь давал своему городу громадное превосходство над другими, он мог путем завоевания соединять несколько городов под своим господством, чем

более оно распространялось, чем его власть более укреплялась, тем более он мог подавлять одну часть своего царства посредством других.

Авторитет царя становился единственным средоточием власти, и, как бы ни было или ни казалось выгодным для подданных сбросить его иго, они могли объединиться лишь путем длинного ряда тайных интриг; но царь был достаточно могущественен для того, чтобы внушаемые им страх или надежда побуждали какого-либо соучастника заговора выдать своих единомышленников.

Часто неразумное честолюбие толкало первых завоевателей совершать далекие военные походы, и, будучи бессильными, за недостатком войск или вследствие слишком дальнего расстояния, удерживать свои завоевания, они ограничивались наложением дани, которая уплачивалась лишь, пока данник чувствовал себя слабее завоевателя.

Отсюда беспрерывно возрождающиеся войны и постоянная смена военного счастья, последовательно господствующие нации, в зависимости от случая, дававшего им царей-завоевателей. Государства земледельческих и до некоторой степени просвещенных народов должны были в силу неравенства прогресса своих соседей оказываться в окружении варварских народов. В эпохи своего расцвета первые расширялись, делая завоевания, устраивая колонии среди последних, постепенно просвещая их; в период их упадка варвары в свою очередь делали на них удачные нападения. Желание господствовать над богатой страной разжигало честолюбие начальников и жадность дикого народа.

Эти потоки, эти переселения народов, которые чередовались у варваров, не оставляя следов, охватывали иногда в своем движении уже просвещенные нации, и только благодаря этому память о них могла сохраниться до наших дней. Тогда варварский народ воспринимал просвещение побежденного вследствие влияния, которое знания и разум всегда оказывают на силу, когда завоевание не влечет за собой изгнания побежденного из его отечества. Варвары, став просвещенными, распространяли просвещение на своей родине. Оба народа сливались воедино — то была единая империя, под властью единого повелителя.

Народы просвещенные, более спокойные, более привычные к мирной жизни, по крайней мере, оседлой, в особенности

в плодородных странах, которые раньше других приобщались к культуре, скоро утрачивали мужество, доставившее им завоевания, если мудрая дисциплина не ограждала нравы от изнеженности. Завоеватели уступают тогда место новым варварам, империи расширяются, имеют период своего расцвета и упадка, но само их падение способствует усовершенствованию искусств и улучшает законы. Так чередовались одни за другими халдеи, ассирийцы, мидийцы, персы, и господство последних было наиболее обширным.

* *

Таким-то путем Мидийское царство, достигнув некоторого превосходства, поглотило все маленькие государства Малой Азии, изнеженные греческими нравами. Затем, подобно рекам, которые, обогащаясь даңью тысячи других, сами впадают в море, оно в свою очередь было захвачено Киром, явившимся миру во главе новой нации. Эта нация, сначала варварская, сохранила при преемниках завоевателя только высокомерие и честолюбие. Изнеженность побежденных скоро перешла к победителям. Дисциплина, которая единственно способна уравновесить силу и благодаря которой разум просвещенных народов оказывал сопротивление натиску варваров, была известна только грекам. Все колоссальное могущество персов было сокрушено Грецией, которая сложила и приобрела военный опыт во внутренних войнах.

Ее территория, состоявшая из островов и гор, не могла быть подвержена таким же превратностям. В первые эпохи большие империи не могли здесь образоваться. Многочисленность мелких государств, почти всегда между собой враждовавших, способствовала сохранению воинственного духа, изощрению в военном искусстве, усовершенствованию оружия и развитию военной храбрости. Просвещение распространялось также благодаря торговле. Вообще народы, обитавшие в гористых холодных или бесплодных странах, являющиеся завоевателями равнин, образуют империи или сопротивляются последним. Они беднее, сильнее, более неуязвимы; они могут располагать временем для нападений и выбирать позиции для самозащиты. И когда у них являлись завоевательные стремления, они видели в этом большие для себя выгоды, и им было очень легко их осуществлять.

Великие империи, образованные, как мы только что ска-

зали, варварами, были деспотическими. Деспотический образ правления весьма несложный. Делать то, что приказывают, — это кодекс, который царь чрезвычайно быстро изучает; чтобы убедить кого-либо, нужно обладать соответствующим искусством, но командовать можно без всякой подготовки.

Если бы деспотизм не возмущал своих жертв, он никогда не был бы изгнан с лица земли. Отец хочет быть деспотом по отношению к своим детям, хозяин — по отношению к своим слугам. Честность не гарантирует государя от этого яда; он желает добра и возводит в добродетель желание, чтобы все ему подчинялись. Чем больше государство, тем легче прививается деспотизм и тем более трудно установить умеренный образ правления. Для этого нужно было бы, чтобы во всех частях государства существовал неизменный порядок; нужно было бы точно определить положение каждой провинции, каждого города, предоставить его муниципальному самоуправлению всю свободу, которой оно не должно злоупотреблять. Сколько сил нужно было бы для согласования и приведения в равновесие и какое искушение было бы усомниться в необходимости всего этого! Завоевание, сделанное варварами, являясь продуктом насилия и сопровождаясь опустошениями, нарушает в государстве порядок, для восстановления которого потребовался бы гениальнейший ум, искуснейшая рука, наиболее мирная и наиболее энергичная добродетель, наиболее чистое и наиболее возвышенное сердце.

Ввиду невозможности удовлетворять всему этому не нашли ничего лучше, как назначать правителей столь же деспотических по отношению к народу, как раболепствующих перед государем. Последнему казалось, что гораздо проще взимать налоги или сдерживать народы через посредство своих наместников, чем самому этим заниматься.

Царь забывал народ. Лучшим правителем считался тот, кто доставлял казне больше денег и кто умел лучше добывать слуг и дворцовую челядь. Правители имели подчиненных, которые действовали в том же духе. Деспотический авторитет сделал правителей опасными; двор обходился с ними чрезвычайно строго: их положение зависело от малейшего каприза. Старались находить предлоги, чтобы лишить их награжденных ими богатств, но участь народов не облегчалась, ибо жадность является также естественной склонностью царей варваров.

Идея рассматривать налоги как средства, идущие на удовлетворение потребностей государства, вначале не была известна, но государь требовал денег, и ему необходимо было давать. На всем Востоке принято было делать подарки царям: они являлись здесь только могущественными и жадными людьми.

Все власти были, таким образом, соединены в лице одного, который даже не понимал необходимости поручать другим ту часть, которую он сам не мог осуществлять. Цари, правители и их помощники составляли иерархию подначальных тиранов, тяготивших друг к другу только для того, чтобы подавлять народ всеми своими объединенными силами.

Деспотические государи, не найдя при своем воцарении законов, не считали нужным их устанавливать. Они сами исполняли роль судей. Вообще, когда законодательная и исполнительная власти сосредоточены в одних руках, законы бесполезны. Наказания произвольны и обыкновенно жестоки, когда приговор исходит от царей, и выражаются в денежных штрафах, когда судьями являются их подчиненные, для которых эта форма наказания выгоднее. По отношению к гражданскому завещанию наследств решающее значение имел обычай или воля отца.

В силу этого деспотизм, воцарившийся там, где уже существовали законы и сформировались нравы, не вызывал тех затруднений, которыми сопровождалась первые завоевания варваров.

Нероны и Калигулы, смею думать, были более жестоки, чем сделали зла. Правилами, установленными в империи первыми цезарями, народ отнюдь не был угнетаем, провинции пользовались долгим миром. Карательная юстиция была довольно справедлива. Наместники не осмеливались проявлять свою жадность: им угрожало бы наказание императора. Двор занимал между народами и вельможами именно то положение, которое он должен занимать во всяком благоустроенном государстве.

Вообще наиболее умеренными являются те большие государства, которые образовались путем слияния многих мелких, в особенности, когда этот процесс совершался медленно. Монарх действительно не считал нужным вмешиваться в детали местного управления провинций, где он никогда не бывал; он предпочитал оставлять все в прежнем виде. Госу-

дари могли любить деспотизм только вокруг себя, ибо их страсти (те, по крайней мере, которые наиболее зависят от каприза) были направлены только на то, что их окружало; они ведь такие же люди, как и другие. Вот почему деспотизм римских императоров причинял меньше зла, чем деспотизм турок.

Деспотизмом проникнут весь их государственный строй. Он заражает все части государства; он сцепляет все его пружины. Каждый паша пользуется среди подвластных ему народов таким же авторитетом, каким султан пользуется по отношению к нему. Он единолично уполномочен, и он же ответствен за все подати. Единственным источником дохода является для него народное обложение, за исключением той части, которую он должен доставлять султану; и, дабы удержаться на своем посту, он вынужден беспрестанно удваивать свои поборы и располагать в свою пользу повелителя бесчисленными подарками. В империи не существует никакого закона для регулирования сбора податей, никакой формальности в отправлении правосудия. Все делается по-военному. Народ не находит при дворе защитников против вельможей, злоупотребляющих властью, так как плодами злоупотреблений пользуются также придворные.

Когда сам завоеватель учреждал наместничества в провинциях, он, благодаря своему невежеству, должен был брать образцом государственный строй своей страны и, следовательно, устанавливать деспотизм в малом масштабе. Деспотизм становится тогда подобным большому дереву, ветви которого распространяются далеко по всей империи и убивают все произведение земли, которую они покрывают своей тенью.

* *

Когда военная власть является единственным связующим звеном государства и образует нацию только путем подчинения ее государю, то такая форма правления деспотична в основе и, если она не умеряется нравами, она деспотична также на практике. Военная дисциплина неминуемо предполагает деспотизм и строгость. Но не нужно смешивать нации, управляемые военной властью, с народами, состоящими исключительно из воинов, как варвары, германцы и др. Напротив, правительство последних способствует зарождению

свободы У них война отнюдь не является исключительным ремеслом, требующим изучения и доставляющим тем, которые им занимаются, превосходство в силе над остальной частью общества. Такая нация сохраняет свои права Государь может поработать свой народ с помощью своих солдат, ибо народ гораздо слабее Но как поработать народ, состоящий из солдат? Не храбрость, не военный дух заглушают дух свободы: наоборот, они благоприятствуют последнему

Европейские государства, завоеванные северными варварами, были, таким образом, избавлены от деспотизма, ибо эти варвары были свободны до завоевания, совершившегося именем народа, а не именем короля. Нравы римлян, прочно установленные, и религия, которую варвары приняли, также способствовали обеспечению свободы.

Варвары рассеялись по стране; они разделяли с королем преимущества победы и территориальные приобретения.

Не так обстояло дело в Азии, где покоренные народы были раньше приучены к деспотизму, ибо первые завоевания, предшествовавшие эпохе, когда нравы могли бы образоваться, были обширны и быстры.

Деспотизм порождает революции, но результатом последних является только смена тиранов, ибо в больших деспотиях сила государей зиждется только на их армии и их безопасность обеспечивается гвардией. Народ не является здесь ни достаточно сильным, ни достаточно объединенным, чтобы бороться с военной силой, сажающей на трон одного царя вместо другого, будучи уверенной, что она будет орудием тирании преемника, как она была таковой в руках предшественника.

Понятно, что все последствия этих принципов должны быть бесконечно разнообразны в зависимости от их смешения с религиозными преданиями и, как мы это указали выше, с благоговением, питаемым народом к известному семейству, ибо люди добровольно подчиняются своим привычкам. Янычарам при желании было бы так же легко выбирать султана из черни, как из фамилии Оттоманов, но таково уважение, внушаемое им с детства к этому семейству, что они этого не захотели бы.

Эта власть воспитания является для деспотизма чрезвычайно сильной опорой, способной поддерживать существование государственного строя, когда все силы империи ослаблены, и

скрывать ее упадок; так что при малейшем движении государство ко-всеобщему удивлению вдруг разваливается, как те деревья, которые кажутся здоровыми благодаря тому, что их кора цела, между тем как вся древесина превращена в порошок и не в состоянии выдержать малейшего ветра. А в деспотических государствах все воспитание направлено к подавлению мужества.

Страх и почтительность завладевают воображением. Верховный повелитель, окруженный чудовищной тайной, кажется творящим суд и расправу в недрах грозной тучи, молнии которой ослепляют и громы которой внушают ужас.

В этих обширных деспотиях устанавливается также вид деспотизма, распространяющийся на гражданские нравы. Этот деспотизм еще более притупляет ум, лишает общество наибольшей части его средств и его прелестей — сотрудничества женщин в семейном быту — и, не допуская равных отношений между двумя полами, приводит все к однообразию и повергает членов общества в летаргический сон, препятствующий всякому изменению и, следовательно, всякому прогрессу.

Так как единственной нормой является сила (как это неизбежно должно иметь место в обществе, где масса рабов и женщин находится в каждом богатом доме, так же как и в государстве, обреченном на роль жертвы по отношению к своему единодержавному повелителю), огонь разума вследствие этого гасится, он оказывается скованным цепями варварского законодательства. Деспотизм увековечивает невежество, и последнее упрочивает деспотизм. Сверх того, этот деспотический авторитет становится обычаем, и обычай санкционирует злоупотребления. Деспотизм подобен огромной массе, которая, вися на деревянных столбах, ослабляет силу их сопротивления и с каждым днем все более их погружает.

Я буду, таким образом, говорить о рабстве, многоженстве, изнеженности, являющихся следствием деспотизма, и попутно коснусь причин, обусловливавших различие в нравах среди людей.

* *

Порабощение женщин мужчинами было основано всюду на неравенстве физических сил. Но так как мужчин рождается немного более женщин, то всюду, где царствовало равенство,

моногамия была естественна; она, следовательно, естественна у всех малочисленных народов, пастушеских, охотничьих и земледельческих, у народов, разделенных на маленькие общества, где государства ограничены городской стеной, как в Греции и в особенности в демократических республиках, у народов бедных и среди всех небогатых людей той же страны, где многоженство более всего принято; она естественна также в империях, нравы которых относятся к эпохе, когда народы управлялись еще на республиканских началах, как Римская империя и империя преемников Александра, которые, хотя были деспотическими, отнюдь не знали полигамии.

Между тем варвары, которые не особенно нежны в любви, были все склонны к многоженству. Тацит рассказывает, что предводители германцев имели иногда трех или четырех жен; у кочующего же и бедного народа зло не может быть заразительным. Таким образом, богатства и расширение империи влекли за собой установление полигамии; она распространялась наряду с рабством.

Первые люди были жестоки в войнах; лишь впоследствии они научились некоторой умеренности. Охотничьи народы убивали своих пленников или, когда они их не умерщвляли, они их принимали в свою среду. Мать, потерявшая сына, выбирала себе пленника, которого усыновляла; она его любила, ибо он был ей полезен. Древние, у которых дети являлись богатством, так как они исполняли всевозможные обязанности, были склонны принимать детей. Поэтому у охотничьих или первобытных народов мы встречаем мало или полное отсутствие рабов.

Пастушеские народы начали знакомиться с институтом рабства. Те, которые завоевали стада, вынуждены были, для того чтобы иметь возможность отправляться на новые набеги, оставлять у себя тех, которые эти стада охраняли.

У земледельческих народов рабство приняло более широкие размеры. На рабов возлагались более разнообразные обязанности и более утомительный труд; и, по мере того как хозяева просвещались, рабство становилось более жестоким и более унижающим, ибо неравенство все более увеличивалось. Богатые перестали работать, рабы стали роскошью и товаром; сами родители продавали своих детей. Но источниками наибольшего количества рабов всегда были военнопленные или дети рабов.

Им поручались наиболее унизительные домашние работы. Они не имели ни имущества, ни чести, они были лишены элементарных человеческих прав. Законы предоставляли их хозяевам неограниченную власть над ними, и это объясняется весьма просто тем обстоятельством, что законодателями были те же рабовладельцы, которые надеялись обеспечить угнетение угнетением. В деспотических государствах государи имели массу рабов; правители и богачи были также крупными рабовладельцами. Расширение государств довело неравенство богатств до наивысшей степени. Столицы стали подобны безднам, куда со всех частей империи богатые стекались с толпами своих рабов.

Рабыни предназначались для утех господина. Эти нравы не чужды также древним патриархам, ибо (и это также основание древней юриспруденции) преступление адюльтера отнюдь не было взаимным, как у нас. Только муж считал себя оскорбленным, и это является следствием великого неравенства между двумя полами, обусловливаемым варварством. Женщины у древних народов никогда не пользовались правами в браке. И только бедность помешала повсеместному установлению полигамии.

Когда впоследствии нравы и законы народа упрочивались, смещение семейств давало женщинам права, которыми они дотоле не пользовались, ибо они, в особенности в республиках, выдвигали силу своих братьев против тирании своих мужей.

В этих республиках, где все были равны, родители девушек не согласились бы навсегда потерять ее из виду. Полигамия и затворничество женщин никогда не могли там установиться. Но в первых империях, о которых мы выше говорили, населенных множеством рабов, где женщины не имели никаких прав, а мужья были полновластны над своими рабами, многоженство стало общим обычаем постольку, поскольку это позволяло имущественное состояние граждан. Ревность — необходимое следствие любви; она мудро внушает супругам дух взаимной принадлежности, который обеспечивает судьбы детей. Эта последняя страсть и, более того, предрассудок бесчестия, который приписывали неверности женщин, увеличивались с полигамией.

Невозможность подчинить женщин этому закону верности, когда ни сердце, ни их чувства не могли быть удовлетво-

рены, подсказала мысль держать их взаперти. И государи, а затем богачи завели себе гаремы.

Ревность побуждала уродовать мужчин, предназначенных охранять женщин. Благодаря этому в нравы вносилась изнеженность, которая их не смягчала, но, напротив, ожесточала.

Так как государи проводили время преимущественно в гаремах со своими женами и рабами, их подданные, которых они никогда не видели, едва существовали для них, как люди. Их политика была всегда варварской. Она была проста, ибо они были невеждами и лентяями, и жестока, ибо, для того чтобы срубить дерево, нужно меньше времени, чем для сбора его плодов, и потому, что искусство делать людей счастливыми наиболее трудное из всех искусств и требует сочетания наибольшего количества элементов.

Эта изнеженность распространялась по всему государству. Отсюда это внезапное ослабление восточных деспотий. Монархии халдеев, ассириян, мидян и персов едва пережили первых завоевателей, основавших их. Казалось, что они существовали некоторое время только для того, чтобы дожидаться врага, который бы их разрушил. Если иногда эти монархии подавляли численностью своих солдат слабые нации, то они терпели поражения при всяком смелом сопротивлении, и, когда Греция объединилась, она почти без усилия сокрушила огромное персидское государство.

Единственным средством против этого общего упадка народа является содержание дисциплинированной милиции вроде турецких янычар или египетских мамелюков, но эта милиция становится часто страшной для своих повелителей.

Я должен заметить, что эти отрицательные стороны деспотизма и многоженства нигде так резко не выступали, как в магометанстве. Эта религия, не допускающая никаких других законов, кроме религиозных, воздвигает стену суеверия на пути естественного движения цивилизации. Она упрочила варварство, освящая те его обычаи, которые существовали до зарождения ислама, и те, которые народные предрассудки заставили ее вновь установить. Ни в истории древних монархий, ни в нравах Китая и Японии мы не встречаем тех крайностей унижения, какие наблюдаются у магометанских народов.

Деспотизм, однообразие и, следовательно, несовершенство нравов, законов и образа правления сохранились в Азии и

всюду, где великие империи рано создавались, и я не сомневаюсь, что обширные равнины Месопотамии этому благоприятствовали. Когда деспотизм в дальнейшем распространился вслед за магометанством, то это было в некотором роде только в силу передачи нравов из одной страны в другую.

Народы, оставшиеся в пастушеском или в охотничьем состоянии и разделившиеся на маленькие общества и республики, избежали деспотического режима. Именно для этих народов революции были полезны, ибо нации принимали в них непосредственное участие и, следовательно, пользовались их плодами; тирания не могла среди них достаточно укрепиться, чтобы поработать умы, так как законодательное собрание находилось под постоянным контролем революционной толпы, указывавшей ошибки основателей государств; наконец, падение и восстановление верховной власти, подвергая каждый раз исследованию законы, со временем усовершенствовали их законодательство и формы правления. Именно там равенство сохранилось, ум и мужество стали активными и человеческий разум сделал быстрые успехи. Именно там нравы и законы со временем научили стремиться к достижению наибольшего счастья для народов.

После этого беглого взгляда, брошенного нами на прогресс различных видов государственного управления и их морали, уместно проследить теперь успехи человеческого разума во всех его переворотах,

ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

(План второго рассуждения)

Выйдем из того хаоса, где душа знает только свои ощущения, где звуки более или менее сильные, более или менее резкие, где температура и сопротивление окружающих предметов, картина причудливых и различно окрашенных фигур, осаждающая со всех сторон душу, погружают ее в своего рода опьянение, которое, однако, является зародышем разума.

Способ, посредством которого идеи начинают мало-помалу дифференцироваться и влиять на наши желания, зависит от некоторого духовного механизма, общего всем людям: он может быть продуктом нескольких мгновений; по крайней мере, пример животных, умеющих находить себе пищу и, что кажется еще более трудным, умеющих ее искать вскоре после своего рождения, как будто это доказывает.

Эта эпоха, хотя она и принадлежит к естественной истории скорее, чем к истории социальной, должна, тем не менее, внимательно рассматриваться, ибо первые шаги в любой области определяют направление всего пути.

Движение упорядочило этот хаос; оно дало людям идеи различий и единства. Без него никогда не стали бы размышлять о различии цветов, удовлетворяясь ощущением этого различия. Но порядок частей этой картины, представляющей душу, изменяет часто самую картину. Душа научается наблюдать эти перемены в их течении. При первых восприятиях этих изменений не умели еще различать части, сохранившие между собой постоянное положение, как в том случае, когда целое казалось движущимся, например, животные, так и тогда, когда оно казалось прикрепленным к одному и тому же месту, например, дерево. Поэтому, поскольку образы,

представившиеся нашим чувствам, были только результатом действия каждой цветовой точки или сопротивления точек, из которых они слагаются, ум их постигал лишь, так сказать, совокупности.

Первичные индивидуальные идеи, таким образом, неминуемо коллективны по отношению к составляющим их частям; никогда анализ умственной работы человека не мог и не может быть доведен до последней ступени; простых идей, собственно говоря, нет; они все разлагаются на результаты ощущений, элементы и различные причины которых могут быть подвергнуты анализу, но пределов последнего мы не знаем.

Анализ первых людей не был особенно глубоким. Массы идей разделялись только по мере того, как разнообразие явлений и в особенности потребностей порождало опыт. Потребности людей относятся только к этим массам; анатомия плодов бесполезна, для того чтобы ими питаться; еще менее полезен анализ идей, говорящих нам об их присутствии.

Идеи являются языком и действительными знаками, с помощью которых мы познаем существование внешних предметов. Не путем рассуждения замечаются отношения, существующие между последними и нами. Провидение, внушая нам желания, мудро сберегло нам столь долгий путь. Поэтому люди неизбежно приписывали свои ощущения внешним предметам, которые они предполагали существующими. Что стало бы с нами, если бы, прежде чем искать себе пищу, нам нужно было бы, на основании своих собственных ощущений, рассматриваемых единственно как наши душевные свойства, заключать о существовании внешних предметов?

Таким образом, названия сначала относились к существующим массам. Идеи, являясь знаками существования внешних предметов, не точно представляют их; издали дуб похож на вяз, и вот получается представление о дереве; не то, чтобы я имел идею о дереве, которое не было бы ни дубом, ни вязом, но идея, извещающая меня о существовании дерева, не говорит мне, есть ли оно то или иное. Таково происхождение абстракции. Идея, без сомнения, проста, если она рассматривается сама по себе, независимо от ее отношений, т. е. когда это всегда известная фигура, всегда известный цвет; но опыт показывает нам, что эта фигура, этот цвет равным образом являются знаками существования вяза или дуба.

Также обстоит дело и с знаками языка. Первоначально они означали только определенный предмет, но, применяясь ко многим предметам, они стали общими. Постепенно стали замечать различные обстоятельства и, чтобы сообщить больше ясности языку, начали давать названия видам и формам бытия, которые по отношению к нашим представлениям являются только отношениями расстояния, или, скорее, если можно так выразиться, оттенками ощущений, вызываемых в нас различными языками, на которых предметы нам говорят.

Таким образом, идеи о *видах* получили названия после представлений о *вещах*, которые рассматривались как главные идеи, хотя чувства нам доставляли их одновременно. Таким образом, извлекая знаки языка из их чрезвычайно большой общности, ум постепенно привыкал к наиболее отвлеченным идеям. Понятно, что идеи умножались по мере того, как языки совершенствовались. Слова, выражавшие *утверждение, отрицание, акт суждения, существование, владение*, стали связью всех наших рассуждений. В силу привычки эти самые абстракции применялись в аналогичных случаях ко всем корням языков.

Постепенно давая, таким образом, наименования различным отношениям предметов между собой или их отношениям к нам, мы обеспечивали себе обладание всеми этими идеями, и операции ума приобретали чрезвычайно большую легкость. Но в то же время лабиринт идей все более и более запутывался. Было естественно полагать, что каждому слову соответствует идея, а между тем одни и те же слова редко оказываются тождественными по своему значению. Они имеют различный смысл, в зависимости от того, как их применяют; люди догадываются о том, чего не слышат в речи.

Благодаря почти машинальному упражнению, обусловленному связью идей, ум достаточно быстро улавливает смысл слов, определяемый обстоятельствами. Когда существовало предположение, что слова точно соответствуют идеям, то казалось весьма удивительным, что невозможно притти к соглашению об их точном определении; долгое время подозревали, что это происходит от того, что идеи были различны, смотря по тому, как извлекали общую идею из различных частных случаев; запутывались в обманчивых объяснениях, обнимавших только часть предмета, и всякий давал различное определение одной и той же идее.

Сложные понятия о существах, которые ввиду своего отношения к реальным предметам по необходимости заключают в себе большее или меньшее число частей, в зависимости от того, насколько предмет известен, рассматривались как картины самих вещей. Вместо того чтобы исследовать, через какие сочетания дошли до соединения под одним общим именем известного количества видов, следствие, причину которого можно было бы найти в общих сходствах, искали ту общую сущность, которая выражалась именами; придумывали роды, виды, индеец и *метафизические стелени*, природа которых вызвала множество споров, столь же иногда жестоких в своих следствиях, как и легкомысленных по своему предмету.

Вместо того чтобы рассматривать эти имена как знаки, относящиеся к нашему методу наблюдения последовательного порядка существ — к методу, который мы распространяем согласно открываемым нами сходствам и который мы не можем даже слишком расширить без того, чтобы не подвергнуться риску смешать одни сходства с другими, — придумывали непередаваемые *отвлеченные сущности*. В последнее время дошли до того, что стали придавать такой же отвлеченный характер понятиям о произведениях человеческого духа, как комедия и трагедия.

Серьезно обсуждался вопрос, принадлежит ли поэма к тому или иному роду, и редко замечали, что спорили только о словах.

Заблуждение было еще больше по отношению к знакам, которыми выражались отношения вещей.

Таковы все моральные идеи, которые рассматривались как имеющие бытие независимо от вещей и имеющие отношения между собой.

* * *

Человек получает свои различные идеи в своем младенчестве, или, вернее, слова запечатлеваются в его неокрепшем уме; они связываются сначала с частными представлениями; постепенно образовывается нестройное соединение идей и выражений, употреблению которых научаются в силу подражания. Время, благодаря прогрессу языков, умножило идеи до бесконечности, и когда человек хотел разобраться в своем собственном сознании, он оказывался в лабиринте, куда он входил с завязанными глазами. Он не может более найти следа своих шагов, между тем его глаза открываются, он

видит со всех сторон дороги, пересечение которых ему неизвестно. Он останавливается на некоторых бесспорных истинах, но откуда явилась у него эта уверенность в их истинности? Он познает все только посредством своих идей; ему, таким образом, необходимо было допустить, что его идеи являются сами носительницами достоверности, ибо как мог бы он ее иначе получить, прежде чем он не уяснил себе процесса образования этих идей в его уме? А анализ этого процесса представляет собой труд бесконечный и требующий усилий многих поколений.

Не зная достаточно определенно, что значит иметь представление о вещи, он считает принципом, что все то, что его идеи ему говорят о предмете,— истина; принцип соблазнительный, ибо в действительности существует искусство выводить из понятий, даже произвольно определенных, следствия, которые не могут обмануть. Успех в этом случае становится новым источником заблуждения. Принципу придается больше доверия, и им часто злоупотребляют. В силу той же причины — убеждения каждого, что он имеет истинное представление о предмете, — отнюдь не пытались отвергать существование верховного судилища, которое может разрешить все сомнения и к которому каждый прибегал лишь в надежде услышать благоприятный о себе приговор. Отсюда неясность логики и метафизики во все времена; отсюда произвольные определения и деления.

Этот мрак мог рассеяться только постепенно; заря разума могла подниматься только по незаметным ступеням, по мере того как люди все более и более стали анализировать свои идеи. Не то, чтобы они сначала познали необходимость различать все элементы последних, но сами споры приводили к этому, ибо истина как бы ускользает и скрывается от наших исследований, пока не вскроются первичные элементы идеи. Ибо, постепенно забегая вперед, чувствуешь за собой незаполнимую пустоту, ибо любопытство побуждает постоянно действовать, пока интересующий его предмет не оказывается исчерпанным, и, наконец, потому, что ни один вопрос не может быть исчерпан, покамест истина не найдена.

Прогресс был более или менее скорым в зависимости от обстоятельств и талантов.

Счастливое расположение мозговых волокон, большая или меньшая сила или тонкость в органах чувств и памяти, из-

менная степень скорости в кровообращении — вот, вероятно, единственные различия, которые сама природа установила между людьми. Их души, или сила и характер их душ, имеют реальное неравенство, причины которого нам всегда будут неизвестны и никогда не смогут быть предметом наших рассуждений. Все остальное есть продукт воспитания, и это воспитание является результатом всех ощущений, которые мы испытывали, всех идей, которые мы могли приобретать с колыбели. Все предметы, окружающие нас, этому способствуют; наставления наших родителей и учителей играют здесь лишь наименьшую роль.

Примитивные наклонности свойственны одинаково как варварам, так и просвещенным народам; они, вероятно, одинаковы во всех странах и во все времена. Гений распространен в человеческом роде приблизительно, как золото в руднике. Чем более вы берете руды, тем более вы добываете из нее металла. Чем более будет в данном месте людей, тем более вы увидите там великих людей или людей, способных стать великими. Случайные обстоятельства воспитания или случайные события развивают их, или оставляют их скрытыми во мраке, или, наконец, умерщвляют их преждевременно, как плоды, сорванные ветром. Приходится признать, что если бы Корнель, выросший в деревне, шел за плугом всю свою жизнь, что если бы Расин родился в Канаде среди гуронов или в Европе в XI в., то они никогда не могли бы проявить своих дарований. Если бы Колумб и Ньютон умерли 15-тилетними, Америка, может быть, была бы открыта лишь на 200 лет позже и мы не знали бы еще, может быть, истинной системы мира. И если бы Virgilий погиб в младенчестве, мы не имели бы Virgilия, ибо не было двух Virgilиев.

* *

Прогресс, хотя и неминуемый, перемешивается с частыми упадками благодаря событиям и революциям, прерывающим его, поэтому он был весьма различен у различных народов.

Люди, удаленные друг от друга и не состоявшие между собой ни в каких сношениях, почти одинаково преуспевали. Мы находим в различных концах мира маленькие нации, живущие охотой, стоящие на одинаковом уровне цивилизации, знающие одни и те же искусства, употребляющие одни и те же орудия, отличающиеся одними и теми же нравами При-

мативные потребности мало благоприятствовали развитию гения. Но коль скоро человеческий род сумел выйти из тесного круга этих примитивных потребностей, обстоятельства, способствующие развитию дарования, комбинированные с обстоятельствами, доставляющими ему факты, опыт; который тысячи других видели бы, не извлекая никакой пользы,— эти обстоятельства тотчас установили некоторое неравенство.

У варварских народов, у которых воспитание почти одинаково для всех, это неравенство не может быть весьма значительным. Когда труд был разделен сообразно дарованиям,— что само по себе чрезвычайно полезно, так как все делается тогда лучше и скорее,— неравное разделение имуществ и общественных должностей сделало то, что наибольшая часть людей, занятая тяжелыми и грубыми работами, не могла поспевать за успехами других людей, которым это распределение давало благоприятные прогрессу досуг и средства.

Воспитание устанавливало между различными частями одной и той же нации различие еще большее, чем имущественное неравенство; то же самое сказалось и в международных отношениях.

Народ, приобретший первые некоторые знания, получал вскоре превосходство над своими соседями: каждый успех значительно облегчал ему достижение другого. Таким образом, его поступательное движение ускорялось с каждым днем, между тем как другие народы оставались в своей посредственности, скрепленные частными обстоятельствами, а третьи пребывали в варварском состоянии. Общий взгляд, брошенный на земной шар, открывает нам еще теперь всю историю человеческого рода, показывая нам следы всех его шагов и памятники всех ступеней, через которые он прошел, начиная от варварства, существующего еще теперь среди американских народов, до просвещения наиболее цивилизованных народов Европы. Увы! Наши предки и пеласги¹, предшествовавшие грекам, были подобны диким народам Америки!

Причины неравенства цивилизации у народов искали в различии климатов. Это воззрение, немного смягченное и разумно ограниченное, применяясь только к тем влияниям климата, которые всегда неизменны, было недавно принято одним

из выдающихся гениальных умов нашего века¹. Но заключения, выводимые из него, по меньшей мере поспешны и во всяком случае весьма преувеличены; они опровергнуты опытом, ибо в одних и тех же климатах народы различны по своей культуре, и в климатах, чрезвычайно мало сходных, мы очень часто встречаем одни и те же черты характера и одно и то же направление ума. Энтузиазм и деспотизм восточных народов могут иметь своим источником одно только варварство, комбинированное с известными обстоятельствами; и этот метафорический язык, на который указывается как на следствие большей близости солнца, употреблялся согласно сообщениям Тацита и Диодора из Сицилии древними галлами и германцами и употребляется еще теперь ирокезами, обитающими среди канадских льдов. Он употребляется всеми народами, язык которых весьма ограничен и которые, не имея собственных слов, умножают сравнения, метафоры, намеки, дабы лучше объясниться, что иногда с трудом им удастся, но всегда недостаточно точно и не вполне ясно.

Так как физические причины действуют только на скрытые начала, способствующие формированию нашего ума и нашего характера, а не на результаты, единственно видимые нами, мы вправе оценивать их влияние только после того, как нами исчерпано влияние моральных причин, и мы уверены, что факты совершенно необъяснимы этими причинами, происхождение которых мы понимаем и движение которых мы можем проследить в глубине нашего сердца.

* *

Представления первых людей были ограничены предметами, доступными чувствам, и, следовательно, их языки сводились к обозначениям последних. Масса отвлеченных и общих идей, неизвестных еще большому числу народов, была продуктом времени, и, стало быть, искусство рассуждать лишь со временем сделалось достоянием людей.

Порядок предметов, которые означались первыми, в языках был всюду одинаков, так же как и первые метафоры и первые отвлеченные идеи, управляющие спряжениями и склонениями, как и аналогия наиболее варварских языков (мы ни одного не знаем в его первобытном состоянии), ибо варвар-

¹ Пеласги (греч.) — название древнейшего населения Греции, слившегося позже с ионянами, эолянами и дорянами. — *Прим. ред.*

ство некоторым образом закрепляет прогресс массы людей только тем, что оно лишает их возможности совершенствоваться.

Гений никогда не упускает случая проявить себя. Таким образом, при постоянном употреблении языков невозможно, чтобы сочетание идей, подлежащих выражению, не вызвало потребности в новых знаках, которые отмечали бы новые связи или новые оттенки между идеями. И эта потребность, являющаяся сознанием нашего умственного убожества, открывая нам этот недостаток, научает нас его устранять и становится источником наших богатств.

Поэтому языки наиболее варварских народов весьма далеки теперь от их первых опытов; то же самое происходит со всякими успехами, которые всегда реальны, но иногда весьма медленны. Существует очень мало искусств и наук, начало которых не могло бы восходить до этих первых эпох; все искусства опираются на простые идеи, на общие и доступные всем опыты.

Мы видим бесконечный прогресс, совершенный науками, и потеряли из виду незаметное сцепление, посредством которого он связан с первичными идеями.

В начале светила рассматривались невооруженным глазом, горизонт был первым орудием, и 360 дней лунно-солнечного года служили образцом деления круга на 360 градусов. Звезды от первой до четвертой величины видимы для всех людей. Смена дней и ночей, изменения фаз луны были естественными измерениями времени; смена тепла и холода и потребности земледелия привели к сравнению движения солнца и луны. Отсюда год, месяцы, названия главных созвездий.

Мореплавание заставило затем усовершенствовать астрономию и научило сравнивать ее с географией.

Музыка, танец, поэзия также обусловлены природой человека. Предназначенный жить в обществе, человек проявляет свою радость внешними знаками — он делает прыжки и издает звуки; общая радость выражается посредством хороводов, прыжков и одновременных и нестройных звуков. Мало-помалу привыкали прыгать на один лад, стали сообразовывать шаги со звуками, последние отделять друг от друга правильными промежутками. Ухо благодаря весьма недолгому опыту и в силу только естественной способности научилось различать первые отношения звуков. Когда появилось желание вы-

разить мотивы радости словами, они были согласованы с размером звуков — таково происхождение танца, музыки и поэзии, создавшейся вначале только для пения. Только со временем стали удовлетворяться одной, свойственной ей гармонией, которую познали лишь после того, как поэзия стала настолько усовершенствованной, что сама по себе могла нравиться.

По мере того как эти искусства совершенствовались, они отделялись вследствие необходимости для каждого особого дарования. Цезуры указывались сходственными звуками, и ухо научилось также различать количество слогов. Необходимость поддерживать размера должна была способствовать развитию и шлифовке языков. Стихосложение с каждым днем становится все менее свободным, ухо в силу опыта устанавливает себе более строгие правила, и если из этих правил становилось более тяжелым, то благодаря счастливому возмещению совершенствование языков, новые обороты, умножавшиеся удачные вольности давали также более сил его переносить.

Легкость удерживать в памяти стихи и национальное тщеславие побуждали первобытные народы воспевать свои, наиболее достопамятные поступки. Таковы песни современных нам диких людей, песни древних бардов, рунические гимны жителей Скандинавии, таковы также некоторые древние духовные песни, вошедшие в исторические книги евреев, шу-кингов китайцев и романсы современных европейских народов. До изобретения письменности они были единственными историями, историями без хронологических дат и часто загроможденными ложными обстоятельствами.

Бедность языков и необходимость метафор, обусловленная этой бедностью, привели к тому, что стали употреблять аллегории и мифы для объяснения физических явлений. Они являются первыми шагами философии, как мы это еще наблюдаем в Индии.

Мифы всех народов аналогичны, ибо явления, которые приходилось объяснять, и образцы причин, которые придумывали для их объяснения, подобны. Различия, впрочем, существуют, ибо только истина едина, и потому, хотя ход воображения почти всюду одинаков, не все шаги его совпадают. сверх того, предполагаемые реальными мифологические существа были примешаны к историческим фактам и в силу этого чрезвычайно разнообразились. Пол божеств, который часто

зависел от рода слова в языке, должен был также разнообразить мифы у различных народов. Тысячи обстоятельств, вызвавших эти мифы, имели своеобразный характер, но общие отношения последних не уничтожались. Смещения и торговля народов породили новые мифы благодаря двусмысленному пониманию старых, и плохо понятые слова увеличивали их количество.

Рассматривая воображаемые существа как реальные, народы то умножали божества, включая в их число те, которые различные нации придумывали для тех же действий, то принимали за одинаковые те, которые имели аналогичные атрибуты. Отсюда путаница в истории этих божеств. Отсюда множество их поступков, в особенности когда два народа, имевшие одинаковую мифологию, смешивались. Таковы были индусы. Физика изменялась, не устранив веры в мифы, которая держалась в силу двоякой любви — к древности и к чудесам — и также потому, что мифы передавались воспитанием из века в век.

Первые истории являются также баснями, изобретенными, чтобы рассеять мрак, покрывавший происхождение империй, искусств, обычаев; их ложность очень легко признать. Все то, что люди изобретают, подчинено только вероятности, т. е. воззрениям того века, к которому относятся эти изобретения. Но то, что они рассказывают, подчинено истине и никогда не может быть опровергнуто позднейшими наблюдениями. Сверх того, памятниками до изобретения письменности людям служили только песни и некоторые камни, на которых эти песни были воспроизведены. Ясно, что в последних искали наслаждения и славы больше, чем заботились об избежании преувеличения. Даже Геродот является еще поэтом. Только после него поняли необходимость говорить правду в истории.

Геродот писал 400 лет спустя после *Гомера*, и, однако, кто такой Геродот? Чем были эти 400 лет? Что представляло собой время Гомера? Каким образом поэзия поднялась так высоко, в то время как история продолжала стоять так низко? Геродот в своей области стоит неизмеримо ниже того уровня, которого достиг Гомер в своей, и один из крупных недостатков Геродота заключается в том, что он слишком подражал Гомеру и старался всюду уснащать свои рассказы украшениями мифа. Знать, что люди жаждут к чудесному, иметь достаточно гениальности, чтобы употреблять последнее с энергией

и грацией и чтобы всем нравиться, — таков Гомер. Нужны были новые размышления и медленный прогресс, чтобы догадаться, что есть случай, когда это чудесное не может нравиться так, как совершенно голая истина; что любопытство людей может находить в достоверности предметов удовольствие, покой, которые удовлетворяли бы его более, чем количество, разнообразие и причудливость приключений; что, наконец, средство нравиться, тысячи раз испытанное, не может быть всегда верным.

Эти размышления, этот прогресс имели место во времена послегомеровские и спустя более 400 лет после него. Когда Геродот писал, эти времена еще не наступили. Часто вещь, требующая меньшей гениальности, чем другая, нуждается для своего осуществления в большем прогрессе во всей массе людей.

Рисование, скульптура, живопись имеют много сходства с поэзией в тех эмоциях, которые испытывает художник, и в тех, которые он хочет сообщить. Естественным началом их является желание сохранять исторические или мифологические памятники; и гений, воодушевленный патриотическим или религиозным рвением, хотел выражать с глубоким чувством и силой идеи и воспоминания, о которых должны говорить эти памятники.

Все эти искусства много зависят от различного состояния людей — охотничьего, пастушеского и земледельческого. В последнем состоянии люди, имея возможность образовывать многочисленное население и более нуждаясь для ведения своего хозяйства в положительных знаниях, должны были неминуемо делать гораздо большие успехи.

* *

Знания людей, которые все заключены в актуальном ощущении, различны: одни состоят в чистых сочетаниях идей, как отвлеченные математические науки; другие относятся к внешним предметам, но касаются только, так сказать, их поверхности и их влияний на нас — такова поэзия, таковы искусства стиля; наконец, третьи имеют предметом существование самих вещей. Они восходят от следствий к причинам, от чувств к телам, от настоящего к прошедшему, от тел видимых к невидимым, от мира к божеству. Вера в реальность тел видимых и прежде существовавших предметов, о кото-

рых говорит нам память, предшествовала рассуждению. Непосредственная причина наших ощущений не вызывала сомнений; причины движений тел образовали физику, и в первые времена часто смешивали взаимодействие тел с влиянием божества.

Аристотель в труде, который, хотя находится теперь в пренебрежении, является, тем не менее, одним из прекраснейших усилий человеческого разума, сумел поднять анализ до совершенства, исследуя способ, которым пользуется наш ум при переходе от известной истины к неизвестной; он сумел вывести отсюда правила искусства рассуждать и, показывая следствия известного сочетания идей, доказал, как можно обеспечить себя, чтобы одно предложение было законно выведено из другого. Нужно признать, что в остальной части своей философии он ни одного анализа не мог сделать столь же совершенно, ибо перечисление идей было делом не столь легким. Но как бы полезным ни считать его труд в отношении следствий, он не может служить для получения ясного понятия о причинах. Хотя *Аристотель* предвидел, что все идеи обусловлены чувствами, все же он чрезвычайно долго склонен был считать началами только мнимо отвлеченные идеи, не восходя до их первичных элементов.

Бэкон первый понял необходимость подвергнуть исследованию все эти понятия. Это было тогда достаточно, чтобы приободрить ученых. Ему должно простить то, что он сам слишком робко преследует свою мысль. Он похож на человека, идущего, опасливо озираясь, по пути, загроможденному развалинами; он сомневается, он колеблется.

Вслед за ним *Галилей* и *Кеплер* кладут своими наблюдениями истинные основания философии.

Но только более смелый, чем его предшественник, *Декарт* задумал и совершил переворот в философии. Система случайных причин, идея свести все к материи и движению составляют дух этого могучего философа и предполагают анализ идей, примера которого мы не находим у древних.

Сбросив иго их авторитета, он, однако, с недостаточной последовательностью относился к элементарным знаниям, занимаемым им у них. Прямо поразительно, что человек, дерзнувший усомниться во всем, что он изучил, не постарался проследить прогресс своих новых знаний до своих простейших ощущений. Говорят, что он ужаснулся одиночества,

в котором он очутился, и что не мог выдержать его до конца. Он вскоре возвращается к идеям, от которых сумел себя избавить, и подобно древним реализует чистые абстракции; он рассматривает свои идеи как реальности. Он придумывает для них причины соразмерно их обширности. Он увлечен своими старыми предассудками, после того как он их уничтожил. Если бы меня не останавливали уважение и признательность, должные такому великому человеку, я бы сравнил его с *Самсоном*, который, сокрушив храм *Дагона*, погиб под его обломками.

Его последователи приписывали наши заблуждения иллюзиям чувств, и их преувеличенная оппозиция против чувств имела хорошие результаты. Желая вскрыть, каким образом чувства нас обманывают, научились анализировать способ познания через посредство внешних предметов.

Локку удалось значительно углубить этот анализ. *Беркли* и *Кондильяк* пошли по его стопам. Все они являются духовными детьми *Декарта*.

Декарт рассматривал природу, как человек, который, бросая на нее широкий взгляд, обнимает ее всецело и составляет ее план, так сказать, с высоты птичьего полета.

Ньютон исследовал ее более подробно. Он описал страну, которую другой открыл.

Ученые поставили себе задачей умалить значение *Декарта* престижем *Ньютона*. Они подражали тем римлянам, которые, когда император занимал место своего предшественника, отсекали голову у статуи последнего, заменяя ее головой нового императора. Но в храме славы есть места для всех выдающихся гениев. Там можно воздвигать памятники всем, заслужившим их.

С этими двумя могучими гениями случилось то, что обычно происходит во всех областях: великий человек открывает новые пути человеческого разуму; в течение некоторого времени все люди являются еще только его учениками; постепенно, однако, они выравнивают дороги, которые он открыл; они объединяют все части его открытий, они соединяют и приводят в известность свои богатства и силы, пока нарождается новый великий человек, который, поднимаясь над уровнем, до которого его предшественник привел человеческий род, достигает такой же высоты, на какую взлетал этот предшественник со своего отправного пункта.

Без опытов Бекера Ньютон, может быть, и не подозревал бы, что его принципы смогут привести его к открытию сфероидальности земли. Великий гений не испытывает желания тщательно изучать теорию, если он к этому не побуждается фактами. Люди редко предаются рассуждениям. Потребность чувствовать чужда не многим. Но, для того чтобы человек мог решиться на смелое умозаключение, нужна более повелительная потребность.

Говорят, что *Френкел* высказал ту мысль, что тяжесть, заставляющая тела падать на землю, удерживает планеты в их орбитах. Но от такой неясной и неверной идеи до того проникательного воззрения, до того гениального взгляда Ньютона, проникающего бесконечность сочетаний и отношений всех небесных тел, до той упорной отваги, которая не уstraшается ни глубины исчисления, ни красоты и трудности проблем и которая дерзает приводить в равновесие солнце, светила и все силы природы,—дистанция огромных размеров.

Декарт открыл искусство привести к уравнению кривые. *Гюйгенс* и в особенности Ньютон вдруг внесли свет анализа в бездны бесконечного.

Лейбниц, обширный гениальный ум и систематик, хотел чтобы его произведения стали центром, где объединялись бы все человеческие знания. Он хотел собрать воедино все науки и все воззрения. Он хотел воскресить системы всех древних философов, как человек, который из развалин всех зданий древнего Рима пытался бы построить царский дворец. Он хотел сделать из своей теодицеи то, что Петр Великий из Петербурга.

Мы обязаны этим великим людям примером и законами анализа, отсутствие которого так долго тормозило успехи метафизики и даже физики.

Можно было бы смешать эти две науки ввиду их общего сходства, которым они отличаются от наук, называемых математическими. Все науки бесспорно обусловлены чувствами, но математические науки имеют то преимущество, что основаны на применении чувств, не допускающем ошибки.

* *

Необходимость измерять поля, подкрепленная свойством пространства измеряться по отношению к занимаемой им площади, породила элементарные математические знания. Идея

чисел не менее проста и не менее обычна; именно из этого небольшого количества простых идей, которые легко сочетать, были образованы математические науки, применимые ко всему, что может быть рассматриваемо как величина. Эти науки легко обнять во всей их совокупности, так как они все являются только следствиями отвлеченных определений, заключающих небольшое количество идей. Образуется цепь истин, связанных друг с другом, цепь, где людям остается только признать все сделанные ими шаги, чтобы накапливать истины на истины. Эти истины становятся все более плодотворными. Чем далее углубляешься в область умозрения, тем более открываешь общие формы исчисления, откуда можно исходить к частным истинам, строя частные гипотезы. Истины, сочетаясь, умножаются и вновь сочетаются, откуда рождается новое умножение, ибо каждая становится источником массы истин, которые не менее плодотворны, чем первые.

По мере того как число этих неизвестных истин увеличилось, по мере того как исследовались свойства большого числа фигур, стали выражать их общие свойства формулами и общими принципами, заключавшими в себе все то, что было известно. Таким образом, даже в математических науках начали с исследования некоторых простых фигур, небольшого числа свойств линий, общие же принципы являются продуктом времени.

Так как полагали, что наилучшим порядком является тот, где из одного принципа вытекает масса следствий, то для того чтобы его ввести в математические произведения, оказалось необходимым из века в век переделывать целиком метод обучения. То обстоятельство, что этот порядок, казавшийся естественным, был произволен; что в геометрии, где выражаются общие отношения фигур, эти отношения взаимны; что можно равным образом вывести принцип из следствия или следствие из принципа (уравнение эллипса может быть выведено из его построения, как его построение из его уравнения),—все это не было замечено.

Предпочтительным же является тот метод, который прослеживает шаги человеческого разума в его открытиях, делает понятным рождающиеся из всех частных истин общие аксиомы и в то же время показывает способ, посредством которого они связывают между собой все предшествовавшие истины. Таким образом, изображение успехов математики по-

добно Олимпу поэтов, вершина которого была обращена к земле и который, по мере того как он удалялся от земли, расширился до того, что сливался с небом; так геометрия расширилась до бесконечности. Частные истины приводят к более и более общим формулам, и даже в математике нужно отправляться от частного к общему.

Но, когда общие принципы найдены, какую быстроту сообщают они прогрессу этих наук! Алгебра, приведение кривых к уравнению, анализ бесконечного! Это непрерывный ряд гипотетических истин, достоверных уже в силу самого характера своего образования и в то же время подтверждаемых природой. Ибо первые гипотезы отнюдь не были произвольными, — они были основаны на идеях протяженности, которые мы получаем через наши чувства и которые последние нам дают только потому, что действительно есть существа, занимающие пространство в природе.

**

Математика отправляется от небольшого количества идей и сочетает до бесконечности отношения. В физических науках происходит как раз обратное: там речь идет не о цепи идей и отношений, но о фактах и идеях, предмет которых существует в настоящем или существовал в прошлом (будущее может быть только математическим) и истинность которого состоит в совпадении наших воззрений с этим предметом.

Под *физическими* науками я разумею *логику*, являющуюся наукой об операциях нашего ума о происхождении наших идей; *метафизику*, занимающуюся природой и происхождением существ, и, наконец, *собственно физику*, наблюдающую взаимодействие тел между собой и причины и сплетение чувственных явлений. Можно было бы сюда добавить историю, достоверность которой никогда не может быть так велика, ибо связь фактов не может быть столь тесна и потому, что факты, уже давно прошедшие, могут только с трудом быть подвергнуты новому исследованию.

Так как природа всегда неизменна, то посредством опытов можно воспроизводить на наших глазах те же явления или произвести новые, но если первоисточники какого-либо факта внушают мало доверия, факт навсегда остается сомнительным, и мы никогда не можем узнать его точные следствия.

Я не имею в виду такие науки, как мораль и политика, зависящие от себялюбия, регулируемого справедливыми, которая сама является только чрезвычайно просвещенным себялюбием. То, что я говорю вообще о различии между науками, основанными на сочетании и наблюдении, должно быть к ним применено. Изучая их, человек не может ограничиваться небольшим количеством принципов. Он одновременно осаждается всеми идеями, вынужденный собирать их в массу, ибо все существа связаны в силу существующего между ними взаимодействия, и в то же время ему приходится заботливо разлагать эти идеи до их простейших элементов.

Логика основана на анализе языка и приведении изображений предметов к составляющим их простым ощущениям. Метафизика должна была благодаря этому анализу сделать некоторые успехи. Прежде чем наши ощущения были анализированы и их причины обнаружены, реальное однообразие материальных существ для нас оставалось скрытым. Голубое и красное тела должны казаться различными, и едва ли можно было бы подозревать, что между ними существует нечто общее, если бы чувства не показывали само рассматриваемое тело как существующее вне нас, способное принимать различные цвета и появляться наделенным различными чувственными качествами. Отсюда различие между *субстанцией* и *формой*, различие, которое, однако, не мешает рассматривать сначала как существа, пребывающие вне нас, хотя существование их *формы* без содержания невозможно. Отсюда заблуждения большинства философов.

Все эти идеи о субстанции, сущности и материи, столь сбивчивые у древних, так как они не были достаточно тщательно прослежены до первичных чувственных идей, употреблялись во всей их двусмысленности. Какие успехи нужно было сделать для их объяснения в области самой физики, движение которой эти заблуждения тормозили! Ибо метафизика и физика имеют взаимную потребность одна в другой. Сколько времени понадобилось для открытия, что все чувственные явления могут объясняться фигурами и движениями. Декарт первый хорошо понял эту истину. До него физика, лишенная этой степени анализа, оставалась почти смешанной с метафизикой.

Заблуждения этой последней зависят от способа, посредством которого мы получаем через наши ощущения пред-

отношение о вне нас пребывающих существах. Связывая цветные точки, мы образуем себе идею о видимом пространстве; путем соединения некоторых ощущений, производящих в нас сопротивление, оказываемое нашему телу извне, мы создаем себе идею об осязаемом пространстве. О существовании тел, являющихся связью и общей причиной наших ощущений, мы убеждаемся посредством рассуждения; но инстинкт или, если угодно, связь идей, рожденная из опыта, опередила рассуждение, и сами тела смешивали с их чувственными качествами. Эта идея неминуемо должна была породить во всей метафизике неясность, о которой мы говорим и которую легко понять, если принять во внимание, что наше суждение о существовании внешних предметов является только результатом их отношений к нам, их влияний на нас, наших опасений, наших желаний, нашего пользования ими.

* *

Так как наши чувства даны нам только для сохранения и благосостояния нашего существа, наши ощущения являются только истинными знаками наших представлений об этих внешних предметах — знаками, которые достаточны, чтобы заставить нас искать или избегать последних, хотя бы их природа нам была неизвестна. Наши суждения суть только краткое выражение всех движений, которые эти тела возбуждают в нас, — выражение, гарантирующее нам реальность этих тел вследствие реальности их влияния. Таким образом, наше суждение о внешних предметах отнюдь не предполагает анализа стольких идей; мы судим о совокупности.

Нужно заметить, с другой стороны, что язык по отношению к метафизике подобен приложению геометрии к физике. Но, кроме того что в языке, употребление которого привычно и легко, не всегда можно достаточно внимательно наблюдать за собой, чтобы не позволить себе никакого противоречия, последнее условие могло бы быть достигнуто только по определении всех своих идей и, следовательно, по образовании с чрезвычайно большим трудом ряда истин, мало пригодных для потребностей общества, которые, однако, являются главной целью языка.

Наибольшая тщательность привела бы к устранению противоречий в терминах, к образованию цепи гипотетических истин, но это было бы недостаточно в науках, которые должны

быть сравниваемы с реальными предметами. Часто проблемы физики (ибо не все элементы, обуславливающие следствие, достаточно хорошо рассматривались) дают результат совершенно противоположный опыту, хотя не было допущено математической ошибки. Слова скорее напоминают об идеях, чем выражают их. Правильным логическим методом можно удачно выводить следствия, но кто поручится за справедливость принципов? И, если их предположить ложными, насколько сама истинность следствий удалась бы от действительности, если бы люди, приводимые своими потребностями к чувствам и к обществу, не вынуждались часто быть непоследовательными! Две противоречивые идеи не кажутся таковыми. Но почему они таковыми не кажутся? Это обыкновенно потому, что они являются отвлеченными идеями, предметы которых реально не существуют.

Вообще принципами наук, где не хотят удалаться от действительности, могут быть только факты. Последние могут быть познаваемы в метафизике лишь путем анализа наших ощущений, являющихся по отношению к внешним предметам только следствиями, означающими их наличность. Их существование может быть обнаружено в физике посредством глубокого исследования всех обстоятельств — исследования, невозможность которого становится неизбежным препятствием для наших исканий. Кому известна только одна сторона суши, тот не может знать, является ли она островом или материком. Вот положение, в котором мы, начиная размышлять, оказываемся по отношению ко всем предметам наших идей, а также относительно многих предметов после долгих размышлений.

Это двойное смешение языка и идей, без сомнения, сильно повлияло на физику. Когда люди начали рассуждать о наблюдаемых ими явлениях, они, прежде чем успели хорошо познать последние, стали сначала искать их причины; и так как истинные причины могли быть открыты только со временем, они выдумывали ложные. Всегда, когда ищется причина какого-либо следствия, причем других данных кроме этого следствия нет, она может быть найдена только путем гипотезы.

По возможности восходят от следствия к причине, стараясь выводить отсюда то, что находится вне нас. А для того чтобы разгадать причину какого-либо следствия, когда наши идеи ее нам не представляют, нужно предположить

наблюдать, нужно проверить несколько гипотез и их испытать. Но как их проверять? Только развивая следствия каждой гипотезы и сравнивая их с фактами. Если все факты, предусмотренные гипотезой, находятся в природе именно такими, какими они должны рисоваться на основании этой гипотезы, то это совпадение, которое не может быть случайным, становится проверкой, подобно тому как узнают печать, замечая, что все ее черты совпадают с чертами ее оттиска.

Таков ход прогресса физики. Мало известные, плохо анализированные в небольшом числе факты должны были вызывать создание чрезвычайно ложных гипотез; необходимость сделать массу предположений, прежде чем найти истину, должна была еще более этому способствовать. Сверх того, трудность выводить следствия из гипотез и сравнивать их с фактами была вначале чрезвычайно велика. И только благодаря применению математики к физике стало возможно из этих гипотез,—являющихся предположением того, что должно произойти с известными телами, двигающимися согласно известным законам,—выводить следствия, которые должны отсюда вытекать; и после этого исследования должны были со временем умножаться. Искусство делать опыты также лишь постепенно совершенствовалось; счастливые случаи, которые, однако, представляются только тому, кто эти предметы часто имеет перед своими глазами и знает их; еще обычнее, масса тонких теорий и мелких детальных систем, подкрепляемых часто математикой, помогла обнаружить факты или указала людям опыты и способы их осуществления, гарантирующие успех. Мы видим, таким образом, как успехи математики благоприятствовали прогрессу физики, как все связано и в то же время как потребность испытать все гипотезы вызвала массу математических исследований. Последние, умножая истины, увеличивали общность принципов, откуда рождаются наибольшая легкость исчислений и совершенствование искусства.

Из всего этого можно заключить, что люди должны были пройти через тысячи заблуждений, прежде чем дойти до истины. Отсюда эта масса систем, имеющих мало здравого смысла, тем не менее являющихся истинным прогрессом, ибо ими нащупывается путь к истине,—систем, которые сверх того обуславливают исследования и в силу этого полезны в своих следствиях. Гипотезы не вредны: все ложные гипотезы сами разрушаются. Мнимо систематические классификации, яв-

ляющиеся не чем иным, как произвольными словарями, скорее останавливали движение естественной истории, представляя ее как ставшей полной, между тем как она таковой никогда не может быть; и, однако, эти методы сами делают успехи. Плиний не является более ученым натуралистом, чем Линней. Напротив, последний в этом отношении стоит выше первого. Но *Плиний* знал меньше предметов и меньше отношений этих предметов. *Линней* более понимает, насколько его память загромождена подробностями предметов и что, для того чтобы их познать, нужно уловить отношения. Он часто останавливается на произвольных отношениях. Но эти произвольные отношения уступят место незаметным оттенкам, объединяющим виды. Первый шаг—это найти систему; второй—ее отбросить.

Возвратимся к нашим физическим гипотезам, разнообразие которых, как мы видим, необходимо и шаткость которых не мешает тому, чтобы в конце концов были найдены истинные, по крайней мере, когда подробности фактов смогут быть достаточно выяснены. Но, помимо трудности анализировать факты и развивать гипотезы, есть в способе их образования другой источник заблуждений, еще более значительный. Это—слишком соблазнительная склонность к аналогии; невежество видит всюду подобие и, к сожалению, невежество судит.

Прежде чем удалось познать связь физических явлений между собой, было весьма естественно предполагать, что они производятся разумными существами, невидимыми и подобными нам. Ибо чему они могли бы быть уподоблены? Все то, что случилось без участия людей, имело своего бога, перед которым страх или надежда вскоре заставили благоговеть и обряды почитания которого придумывались сообразно существовавшим отношениям к сильным людям; ибо боги считались только людьми более сильными или более или менее совершенными, в зависимости от того, насколько век, продуктом которого они являлись, был более или менее просвещен об истинных совершенствах человечества.

Когда философы, не имея истинных знаний в области естественной истории, признали нелепость этих басен, они начали объяснять причины явлений отвлеченными выражениями, вроде *сущностей* и *способностей*, которые, однако, ничего не объясняли и рассматривались как *существа*, как новые божества, пришедшие на смену старым. Эти аналогии просле-

живались, и таким путем умножились возможности, которыми пытались пролить свет на происхождение каждого явления.

Лишь значительно позже, когда было замечено механическое взаимодействие между телами, удалось построить на основании этой механики другие гипотезы, которые могли быть развиты математикой и проверены опытом. Вот почему физика перестала вырождаться в скверную метафизику только тогда, когда длинный ряд успехов в области искусств и химии умножил сочетания тел, когда сообщения между обществами, став более тесным, обусловило расширение географических знаний, когда факты стали более достоверными и когда практическое применение искусств стало совершаться на глазах у философов. Книгопечатание, литературные и научные журналы, академические мемуары увеличили достоверность, так что теперь только подробности являются еще сомнительными.



Есть другой вид прогресса человеческого разума, менее признанный, менее известный, однако, реальный,— это прогресс в области изящных искусств, в области живописи, поэзии и музыки. Что бы ни говорили поклонники древности, теория этих искусств значительно расширилась, но мы не только не превосходим, но даже не достигаем в искусстве рисунка той высшей красоты, образцы которой давала Греция, правда, в течение очень недолгого времени.

Так как истинный вкус, не будучи произвольным, однако, чрезвычайно трудно постигается, так как его природа может быть легко ослаблена всевозможными привычками, он поэтому претерпел много переворотов. Живопись зависит от подражания; архитектура сначала считалась только с удобствами строительства. Техника этих двух искусств совершенствовалась, но вкус разнообразился причудливыми приемами. Тонкость чувства, от которого зависит его совершенство, несовместима ни с варварством, ни с изнеженностью. Она зависит от мягкости нравов, от умеренной роскоши, не заглушающей потребности в знаниях и являющейся достаточной, чтобы создать спрос на приятные вещи и занять посредственных художников, между которыми формируются и блещут великие таланты. Ни одно искусство не может существовать, если не удастся побудить достаточное количество людей культивиро-

вать его, как простое ремесло¹. Излишняя роскошь, когда тщеславие побуждает накапливать украшения, рассматривая их скорее как знаки богатства, чем как произведения искусства, притупляет вкус. Преследуется не удовольствие, доставляемое этими вещами чувствам и уму, удовлетворяются не личные потребности, но делается то, чего требует мода. Верное средство судить плохо о вопросах всякого рода — это не судить своими собственными глазами. Когда каждый имеет свой собственный взгляд на вещи, толпа является хорошим судьей, ибо ее мнение складывается из отдельных суждений многих; но когда все только слушаются, толпа судит плохо. Другой причиной дурного вкуса был часто прогресс механики и искусств. Во всем люди склонны принимать трудное за красивое. Искусство, добродетели—все заражено этими заблуждениями; отсюда ложные добродетели многих философов.

Лишь чрезвычайно долгое время спустя узнали, что даже добродетель у людей, так же как красота в искусстве, зависит от известных отношений между предметами и нашими органами. Ум, естественно, любит улавливать эти отношения, и искусства совершенствуются, когда они достигают этого уровня. Усовершенствованная техника искусства становится заслугой рабочего, старающегося показать свою ловкость,

¹ Англичане в течение долгого времени не жалеют денег на приобретение ценных картин, и они же не могли иметь ни одного великого национального художника. Итальянцы, французы, фламандцы, весьма немногие немцы и испанцы единственно успели в этом искусстве. Причина заключается в том, что англичане оплачивают только хорошие картины. Изгнав церковную живопись, они лишились возможности предоставлять средства существования плохим и даже посредственным художникам. И во всех ремеслах, где плохой рабочий не может находить работы и где посредственный не приходит ему на помощь, великие люди не могут нарождаться. Наши художники с моста Notre-Dame, доставляющие картины во все деревенские церкви, являются необходимым питомником для образования некоторых великих художников. Начиная работать в области какого-либо искусства, никто не уверен в успехе. Если же возможность существовать своим ремеслом обусловлена достижением высшего совершенства, родители не пошлют своих детей изучать его. Вот почему у англичан чрезвычайно мало художников. Почти все голландские мастера писали только пейзажи, морские или жанровые картины, и я не думаю, чтобы можно было назвать хоть одного исторически более или менее известного художника, который не был бы католиком.

не думая о способе сделать свои предметы привлекательными — о способе, который трудно определить, если он не улавливается своего рода инстинктом. Отсюда готическая архитектура, являющаяся не чем иным, как возвращением к древним образцам, т. е. к тому времени, когда люди получили это вдохновение.

Греция также утратила хороший вкус — обстоятельство, доказывающее, что вкус притупляется не только вследствие варварства. Но эта утрата менее замечалась там, ибо Греции не приходилось очищать эту эпоху от остатков варварства, побуждавшего Европу искать образцов в более счастливых временах.

Живопись и скульптура, будучи наиболее трудными искусствами, должны были дойти до степени упадка, как только они лишились просвещенного покровительства государей. Ни спрос церквей, ни роскошь частных лиц не могли их поддержать, ибо частные лица обеднели, слабость же торговли всех частей Европы отражалась на разборчивости в предметах этих искусств. Вкус, образующийся в силу частого сравнения красивых вещей, утрачивается, когда торговля народов не выставляет их всюду на показ. Уличный маляр достаточен для тех, кто довольствуется лишь грубой роскошью. Сверх того, живопись — искусство капризное, требующее гения, а политический строй Европы, унижая все то, что не было дворянского происхождения, превратил ее в простое ремесло. Что касается Греции, то она была слишком разорена, слишком опустошена как вследствие непрочности трона, так и благодаря набегам сарацинов и болгар для того, чтобы успешно культивировать приятные искусства. Она, тем не менее, способствовала пробуждению Рима в XIV в., благодаря энтузиазму, который она внушила к древности.

Некоторые виды изящных искусств могли совершенствоваться только с течением времени: примером может служить перспектива, зависящая от оптики. Но местный колорит, подражание природе, даже выражение страстей существуют во все времена. Таким образом, те великие люди, которые во все эпохи доводили искусство до известного уровня, приобретали по отношению к последующим векам равное значение, и поэтому они некоторым образом более счастливы, чем философы, которые неминуемо становятся устарелыми и бесполезными вследствие успехов своих преемников.

Великие люди в области красноречия и поэзии также создают себе бессмертие, пожалуй, еще более продолжительное, ибо их произведения посредством копий увековечиваются и умножаются. Их успехи зависят от языков, от обстоятельств, от нравов и случая, способствующих развитию в народе многих великих гениев.

Мы должны заметить, что, говоря о процветании или упадке красноречия, мы имеем в виду только красноречие, изучаемое как искусство, т. е. только торжественные речи, ибо во все времена у всех народов страсти и дела порождали истинно красноречивых людей.

Истории, писавшиеся в недрах варварства, полны черт сильного и убедительного красноречия. Кардинал де Рец был более красноречив в парламенте, чем на кафедре. Таковы также описываемые Тацитом Сегеста, Арминий и Вибулинус.

Меня мало удивляет упадок красноречия в Греции и Риме. После разделения империи Александра, царства, образовавшиеся на ее развалинах, затмили собой все маленькие республики, где красноречие так ярко блистало. Александрия, Антиохия стали центрами торговли и искусств. Афины были не более, как город без влияния в Греции, куда молодые люди посылались еще для изучения наук, но где талант не мог рассчитывать на блестящую карьеру. Честолюбцы были при царском дворе, где в ходу интрига, а не красноречие. Движения на афинской площади не колебали более всю Грецию.

Когда читаешь речи Демосфена, убеждаешься, что в этом униженном и выродившемся городе — Афинах — не было почти никого, кто мог бы высказаться. Искусные учителя, некоторые таланты, некоторый предполагаемый у них вкус не могли, таким образом, сохранить там истинное красноречие.

Они приучали молодых людей, как это еще практикуется в наших гимназиях, делать *амплификации* на всякого рода темы. Ничто так не способно давать более ложное направление уму и даже извратить характер; благородное сердце не согревается холодом. Красноречие — искусство серьезное, за которое не всякий может взяться. Никогда гениальный человек из желания похвастать своим красноречием не тратил свое время бесцельно на то, чтобы поносить Тарквиния или Суллу или чтобы убеждать Александра жить мирно. И потому мы видим, что после падения республики там были только фразеры, а отнюдь не ораторы.

В Риме, где те же причины обусловили те же следствия, некоторые императоры, страстно увлекавшиеся красноречием и не брезгавшие заниматься составлением некоторых речей, не породили Цицеронов, ибо они не могли воссоздать обстоятельств, вызвавших их к жизни. Когда не о чем говорить, невозможно быть красноречивым. Нужно иметь кого возбуждать или кого убеждать.

Наши судебные установления не являются или являются очень редко атмосферой, благоприятной подъему красноречия. Цицерон, обвиняя или защищая гражданина перед народным собранием или римским сенатом, облеченными законодательной властью, мог предаваться своему гению. Но когда дело идет об исследовании на суде вопроса о законной принадлежности данного наследства Петру или Якову, то нужно только обладать довольно простым дидактическим тоном, нужно только доказывать. А всякая речь, которая только доказывает, не может нравиться тем, которые не интересуются предметом.

Как только политика перестала быть вдохновительницей ораторов, древние не знали, к чему применить красноречие. Они не имели того ресурса, который мы находим во многих философских и моральных проблемах, породивших у нас род красноречия, называемого академическим и которое для достижения доступного ему успеха требует также, чтобы культивирующие его никогда не делали амплификаций.

Кафедра, поднимавшая красноречие на самую высшую ступень, стала известна только новейшим народам. Величие бога, величественный мрак, окутывающий таинства, великолепие религии, сильный интерес к будущей жизни открыли широкое поле для возвышенного и патетического таланта *Боссюэ* и *Сорена*. Величие предмета породило даже другой вид цветистого красноречия, которое употребляли *Флешье-Массильон*, бесспорно более красноречивые, чем *Лисия* и *Исократ*, но не достигавшие, однако, тех вершин, куда взбирался гений *Боссюэ*.

Можно удивляться тому, что древние отцы церкви также не воспользовались этим обстоятельством, чтобы возродить красноречие среди греков и римлян. Правда, у некоторых, в особенности у греков, мы находим поразительные черты этого красноречия.

Сальвиан, беседуя с жителями Трира, которые после ре-

волюции в их городе требовали театральные зрелища, не намного уступает Демосфену, делающему аналогичный упрек афинянам по поводу их любви к празднествам. Но вообще эти черты у отцов церкви были обусловлены силой сюжета. Форма проповеди, которую они придавали своим речам, отдает всегда чем-то дидактическим, более способным поучать, чем возбуждать. Часто любовь к простоте заставляла их пренебрегать благородством образов и другими украшениями речи. Св. *Августин* часто как будто старается быть красноречивым. Иногда это ему удается, но его красоты поглощаются потоком легкомысленных острот и оборотов, подсказанных ему дурным вкусом его века и его собственным вкусом ритора-профессионала.

То, что называется напыщенностью, является, так сказать, возвышенным притворством. Истинное красноречие употребляет наиболее сильные и наиболее живые образы, но нужно, чтобы они явились продуктом действительного воодушевления.

Не будучи возбужденным, нельзя возбуждать. Восторженный язык слагается из обыкновенного языка и из языка всех страстей и производит впечатление пустой болтовни, когда он является только подражанием, так как последнее всегда несовершенно. Правильно пущенная стрела попадает в цель; если прицел взят выше, она падает сзади — таково естественное и преувеличенное воссоздание образа.

Смешение языков приводит их в состояние непрерывного движения до того момента, когда их сходство определяется, и даже тогда они изменяются, смягчаются, пока великие писатели не становятся образцами для суждения об их чистоте. До этого взаимодействия языки не могут быть закреплены. Ясно, что, когда два языка, имеющие различную конструкцию, начинают смешиваться, должно пройти известное время, пока создастся совершенное однообразие. Сверх того, образованные люди хотят удержать старый язык и говорят на нем не плохо, так как изучают его только по книгам; народ, не имея теоретической подготовки, говорит на грубом диалекте, лишенном правил и гармонии; ни в одном, ни в другом нет поэзии; или если и пишут кое-какие стихи, то, так как авторы люди грубые, эти стихи варварские. Нужно заметить, что у народов, опередивших других в искусствах и в некотором научном прогрессе, простой народ более невежествен, чем видные представители даже варварской еще нации. Кроме того,

механические искусства и порабощение народа притупляют умы. Первичные идеи людей имеют некоторую аналогию с воображением и чувствами — аналогию, которая утрачивается благодаря отвлеченным идеям, а также благодаря успехам философии. Можно, конечно, вновь согласовать эти новые идеи с воображением, но для этого нужен новый прогресс.

Даровитые поэты начинают появляться, вкус и изящество стили вырабатывается лишь тогда, когда языки приобретают известное богатство и в особенности когда их сходство становится прочным. Почти все языки являются смесью нескольких языков. Пока они смешиваются, язык, образующийся в результате, заимствует кое-что из одного и нечто из другого. В этот момент брожения, — спряжения, склонения и способ словообразования неустойчивы. Построения фраз затрудняются, и мысли затемняются вследствие этого затруднения. Сверх того, бесформенные жаргоны часто изменяются. Поэтические выражения выходят из употребления вскоре после того, как они были изобретены, так что поэтический язык не может обогащаться. Коль скоро язык сформирован, он начинает иметь поэтов, но он закрепляется только тогда, когда на нем было написано несколько сочинений великих талантов, ибо только тогда существует критерий для суждения об его чистоте. Для языков, может быть, губительно слишком рано закрепляться, так как, изменяясь, они постоянно смягчаются и совершенствуются.

Единственный принцип изменения в языках, не смешивающихся с другими, — это введение метафор, которые становятся обычными и заставляют забывать их метафорический смысл, если они часто и в течение долгого времени употребляются писателями. Известно, что большая часть слов, выражающих предметы, воспринимаемые нашими чувствами не непосредственно, суть истинные метафоры, взятые от чувственных вещей, например: *мыслить, рассуждать, раскаяние* и т. д. Между тем эти слова, произносимые теперь в нашем присутствии, не вызывают более в нашем уме образов. Они нам кажутся только непосредственными знаками некоторых наших отвлеченных идей. Многие утратили все отношения, которые они вначале имели с чувственными предметами.

Не подлежит сомнению, что слышавшие из уст изобретателя подобное выражение неизбежно понимали его метафору. Их ум, привыкший связывать его с идеями о чувственных

предметах, должен был сделать некоторое усилие, чтобы придать ему новое значение. Но, в силу того, что оно многократно повторялось в новом смысле, который ему начали придавать, этот смысл стал некоторым образом его собственным, чтобы понимать выражение в его новом значении, не было более надобности вспоминать старое. Для его понимания единственно необходимым было упражнение памяти; люди со слабым воображением, которые всегда наиболее многочисленны, видели в нем только знак чисто отвлеченной идеи и в этом смысле передавали его своему потомству.

Это могло бы, пожалуй, внушить опасение, что все эти красивые выражения, которыми мы восхищаемся у наших поэтов, потеряют, таким образом, свое украшение и что цветы, собранные гениальными людьми, вынужденные переходить через столько грубых рук, завянут. Тогда те, которые родились бы с равными талантами, были бы вынуждены для сообщения своим идеям одинаковой энергии изобретать новые обороты, новые выражения, которые скоро подверглись бы той же участи; и в течение этих переворотов язык Корнелия и Расина устарел бы, в нем не находили бы более прелестей их поэзии.

Вопреки этому рассуждению, я думаю, что пример греческого языка должен нас успокоить. На протяжении более двух тысяч лет, начиная от Гомера до падения Восточной империи, он лишь незаметно изменился. Красоты Гомера и Демосфена были всегда понятны: некоторые латинские слова, вкравшиеся в греческий язык, не исказили его в основе. Правда, критики почти различают век, когда произведения писались, но это различие едва ли не устанавливается только по немногим иностранным словам и часто даже по природе описываемых вещей или по намекам, которые авторы делают на различные события.

Я сказал бы тоже про латынь, вопреки столь обычному предрассудку, что она была искалечена вследствие смешения языка римлян с языками побежденных. Но это настолько мало вероятно, что у латинских авторов, писавших в эпоху существования империи, едва можно указать несколько оборотов или несколько слов, позаимствованных из варварских языков; сверх того, почти все эти слова суть технические термины искусств или названия почетных должностей, или наименования нового оружия, никогда не составляющие ос-

июязык. Случается слишком часто, что гений языка смешивают со вкусом людей, говорящих на нем.

Вкус *Клавдиана* был, без сомнения, весьма отличен от вкуса *Виргилия*, но язык обоих был один и тот же.

Нам говорят, что после века Льва X рыцарь *Марен* заменил прелести итальянского языка ребяческой напыщенностью. Правда, это является характерной чертой его произведений, но совершенно неверно, что он сообщил этот характер своему языку, и я уверен, что *Метастазео*, *Маффей* и столько других, вводивших в Италию хороший вкус и любовь к простоте, не встретили никакого препятствия в гении их языка.

Вообще различие в стиле между авторами, удаленными друг от друга на много веков, не более доказывает существование различия в их языке, чем несходство, которое наблюдается между авторами современниками и которое часто столь же велико. Не различие в словах и в оборотах речи, а разница в даровании низводит столь низко писателей веков упадка.

Рассуждение, вызывающее эти размышления, имеет силу только при переходе от слов одного языка к другому и в различных изменениях, претерпеваемых не установившимся еще языком.

Именно тогда выражения, переходящие из уст в уста, имеют для перенимающих только тот смысл, какой им дается передающими, причем их оригинальный и собственный смысл не сохраняется. Но не так обстоит дело, когда язык закреплен. Книги, закрепившие его, всегда существуют, и собственно значение слова, оставаясь неизменным, обуславливает то, что метафора никогда не лишается ее истинного смысла. Тогда язык представляет собой не просто народные идеи, переходящие от одного поколения к другому,—произведения даровитых авторов являются сокровищницами, где он всегда сохраняется и из которых все поколения будут черпать.

Языки могут быть закреплены в их аналогии и иметь великих писателей задолго до того, как они обогатились, ибо только смешение языков мешает им приобретать устойчивость, а талантливые писатели ограждают языки от влияния этого смешения, как это случилось в Греции по отношению к латыни и восточным языкам. Эпоха же окончательного образования языков, более или менее близких к своему со-

вершенству, имеет большое влияние на гений наций в области поэзии и красноречия. Все народы, языки которых бедны,—древние германцы, ирокезы, евреи (доказательство, что это не зависит от климата)—выражаются метафорами. За отсутствием определенного обозначения какой-либо идеи пользовались именем ближайшей идеи, дабы дать возможность угадать суть речи. Воображение работало над изысканием сходств между предметами, имея путеводной нитью более или менее точную аналогию. В наиболее просвещенных языках мы вновь находим следы этих грубых метафор, которые вела необходимость, более изобретательная, чем разборчивая. Когда ум привыкает к новой идее, слово теряет свой метафорический смысл. Я не сомневаюсь, что в восточных языках мы нашли бы очень мало таких метафор, которые при употреблении принимались бы во внимание. Нужно признать, что древние языки допускают более смелые метафоры, т. е. такие, аналогия которых менее совершенна, что вначале вызывает необходимостью, а потом привычкой. Сверх того, метафоры, охватывающие меньшее поле зрения, нас более поражают. Мы обладаем таким же живым воображением, как и восточные народы. По крайней мере не подлежит сомнению, что греки и римляне обладали им в той же степени, как и древние северные народы. Но так как ум греков, римлян и наш был наполнен массой отвлеченных идей, языки греков, римлян и наш должны были быть менее загромождены образами.

Из сказанного следует, что языки также способны выражать с большей точностью гораздо большее количество истин. Если язык, слишком рано закрепленный, может замедлять прогресс народа, говорящего на нем, то нация, получившая слишком быструю устойчивость, может в силу аналогичной причины быть как бы остановленной в научном прогрессе. Китайцы были слишком рано закреплены в своей цивилизации. Они уподобились тем деревьям, у которых срезали ствол и ветви которых вырастают близко к земле. Они никогда не выходят из состояния посредственности. У них внушали столько уважения к едва намеченным наукам и с такой почтительностью относились к предкам, сделавшим эти первые шаги, что они признаются совершенными, не нуждающимися ни в каких добавлениях; китайцы заботятся только о сохранении этих прекрасных знаний. Но ограничи-

ваться сохранению наук в том состоянии, в котором они находятся в данный момент,—значит решиться увековечить все, заключающиеся в них заблуждения.

Многочисленные испытания молодых ученых, в которых китайская полиция благоволит участвовать, неминуемо перегружают их ум материалами, составляющими предмет этих экзаменов. Ничему не обучают, ничего не изобретают. Чтобы дерзнуть при таких обстоятельствах начертать пути гению, нужно было бы знать его ход, и именно этого они вполне достигнуть не могут, ибо они знают только то, что открыто, а не то, что остается открывать. Покровительство, оказанное наукам в восточных царствах, способствовало их гибели; оно же, загромождая их обрядами и превращая их в догмы, ограничило их прогресс и даже обусловило их попятное движение.

Греция так превзошла восточные народы в науках, заимствованных ею у них только потому, что она не была подчинена единоличной деспотической власти. Если бы она подобно Египту составляла единое государственное тело, то весьма возможно, что такой человек, как Ликург, желая покровительствовать наукам, стремился бы регулировать изучение их полицейскими правилами. Сектантский дух, вполне естественный у первых философов, стал бы духом нации. И когда законодатель оказался бы учеником Пифагора, то науки в Греции ограничивались бы изучением основоположений этого философа, которые возводились бы в догматы веры. Он был бы для Греции тем, чем был знаменитый Конфуций для Китая. К счастью, положение, в котором находилась Греция, разделенная на множество маленьких республик, предоставило гению всю свободу, все сотрудничество усилий, в которых он нуждается. Взгляды людей всегда более узки, чем предначертания природы. Более достойно быть руководимым последними, чем несовершенными законами. Если науки сделали столь великие успехи в Италии и в силу этого во всей остальной Европе, то они бесспорно обязаны тому положению, в котором находилась Италия в XIV в., положению, вполне подобному таковому древней Греции.

Науки у азиатских народов рассматривались всегда в мистическом духе; а там, где науки являются таинствами, редко бывает, чтобы они не вырождались в суеверия. Гений отнюдь не пребывает необходимо в известных семействах или в известных местах, и сосредоточить в них науки — зна-

чит и устрищать от научных занятий почти всех тех, кто способен их совершенствовать. Сверх того, очень трудно, чтобы люди, большая часть которых посредственности, получив истину или науки как наследство, не рассматривали их как землю, как капитал, которые должны им приносить ренту или проценты. Они становятся в их руках предметом позорного торга и подлой монополии, своего рода товаром, который они оскверняют еще нелепой примесью наиболее вздорных воззрений. Такова была судьба древних открытий, сделанных на Востоке и превращенных в сокровищницу, охранять которую считали себя призванными единственно жрецы. Они искажались, превращаясь в уродливое собрание басен, откровений магии и наиболее сумасбродных суеверий. Все эти нелепости, введенные при наследниках Алéксандра в древнюю философию греков, способствовали образованию нового пифагоризма Ямвлиха, Плотина и Порфирия.

Мы видим, таким образом, что ранняя зрелость в науках или в языках не является преимуществом, достойным зависти. Европа, более запоздавшая, дала более питательные и более обильные плоды. С орудием, которое греческий, латинский и наши новые языки ей доставили и доставляют нам, гораздо труднее обращаться, но оно может употребляться гораздо чаще и применяться в более многочисленных работах. Множество отвлеченных идей, выражаемых нашими языками и входящих в наши аналогии, требуют для своего приложения большого искусства — это неудобство усовершенствованных языков. Есть много слов, которые совершенно не вызывают в уме образов. Так что, для того чтобы создавать художественные картины на этих языках, ставших столь приспособленными для определений и доказательств, нужно больше искусства и таланта. Но для великих гениев эта самая трудность, упражняющая их талант и заставляющая их развернуть свои силы, приводит их к успеху, которого невозможно было достигнуть при младенчестве языков и наций. Первые художники в Греции употребляли только три краски; их картины были не лишены выразительности. Но Рафаэль рисовал не хуже их, а Гвидо, Тициан, Рубенс с множеством красок, которыми они покрывали свою палитру, дошли до такого истинного изображения природы, о котором древние не могли иметь представления. Точно так же греческий и латинский языки, давая звучные окончания к древним

и твердым корням азиатских языков, и наши современные языки, преобразовывая, таким образом, языки северных народов, облегчили достижение гармонии, умножение аналогий, породили удачные обороты, сообщившие стилю плавность и разнообразие.

Это и обусловило красоты, в особенности греческой и латинской поэзии, которая могла благодаря особому построению их аналогии сохранять перестановку слов и пользоваться количеством слогов для образования их ритма, между тем как все другие нации, для того чтобы сделать заметным размер, вынуждены были прибегать к рифме. Поэзия, раз введенная в этих языках до своего совершенства, стала истинной живописью, хотя с первого взгляда можно было бы полагать, что метафорические языки Востока изображали явления жизни с большим блеском и с большей силой. Отнюдь нет. Эти языки рисовали легко, но грубо и скверно, неправильно и бескусно.

* *

Науки, занимающиеся сочетанием или изучением предметов, бесконечны, как сама природа. Искусства, являющиеся только отношениями внешнего мира к нам самим, ограничены, как и мы; вообще все те искусства, которые имеют целью доставить чувственное наслаждение, встречаются на своем пути непреходимый для них предел, обусловленный ограниченной чувствительностью наших органов — предел, которого они долго не могут достигнуть. Например, лишь в последнее время музыка достигла своего совершенства, и может быть, что она его не вполне еще достигла. Впрочем, излишне писать против тех, кто стремится идти гораздо дальше: коль скоро они переходят границы, наши чувства должны нас об этом извести. Таким образом, поскольку поэзия дает гармоничные образы, полные грации, она не пойдет дальше Виргилия. Но, будучи совершенной в этом отношении и в отношении стиля, она способна беспрерывно прогрессировать во многих других отношениях. Страсти не будут лучше изображаться, но сочетания обстоятельств дадут новые эффекты их движений. Искусство сочетать и использовать все обстоятельства, правдоподобное воссоздание действительности, подбор характеров, все то, что относится к составлению произведений, сможет совершенствоваться. Благодаря опыту будет приобретаться все большая

искусность. Масса тонких размышлений научит, какими приемами нужно пользоваться, чтобы произведения нравились. Можно будет образовать красивые гирлянды тех цветов, которые природа давала всем древним, да и нам в них не отказала. Наконец, подражание, поддерживаемое великими образцами, даже недостатки последних часто предохраняют от ошибок, которые иногда уродуют прекраснейшие сочинения. Успехи философии, прогресс всех физических знаний и истории, выдвигающей на мировой арене ежеминутно новые события, доставят писателям новые сюжеты, являющиеся пищей для гения.

Есть другой принцип изменения вкуса: нравы могущественно влияют на выбор идей, и поэтому кажется, что народы, у которых общество наиболее процветало, должны были иметь более тонкий вкус. Вкус заключается в умении полно выражать привлекательные или сильные идеи. Все то, что не является ни фактом, ни чувством, ни образом, увидаешь. Отсюда отчасти неудобство передовых языков, богатых отвлеченными идеями; гораздо легче, если можно так выразиться, на них болтать, чем изображать. Размышление устраняет этот недостаток, ибо, что бы ни говорили наши педанты, люди стали гораздо проще в наш век. Вуатюр теперь в пренебрежении. Между нашим прогрессом и успехами древних существует странное на первый взгляд различие. У них первые поэты были слишком грубы, у нас они слишком тонки — это объясняется тем, что их вкус образовался одновременно с их идеями, мы же имели идеи, прежде чем выработали свой вкус.

Вообще вкус может быть дурным либо вследствие выбора пустых, низких и крайне неприятных идей, которых богатые народы, по мере того как общество у них более просвещается, научаются избегать, либо также благодаря слишком малопонятным образам. Выражаюсь яснее. Удовольствие, доставляемое нам сравнениями, распадается на два элемента: один — это рассудочное удовольствие, испытываемое нами при сопоставлении двух идей; другой и бесспорно наибольший — это удовольствие, обуславливаемое самой приятностью представляющихся нашему уму образов. Все изображения вещей, говорящие нашему воображению и сердцу, нравились чувствам, украшают стиль и распространяют ту прелесть, которой природа наделила окружающие нас существа и которая является источником нашего счастья; она же и воз-

буждает нашу чуткую душу. Но математические изображения фигур, хотя и существующих в природе, но не представляющих живую природу, единственно связанную с нами узами удовольствия,— эти образы приносят с собой одну только сухость. Отношения могут быть одинаково справедливы, но они гораздо труднее улавливаются и ничего не говорят сердцу. Это одно из больших различий между умом и талантом. Последний, основанный на чувствительности, умеет выбирать образы, способные сообщить душе то приятное волнение, которое получается при созерцании красок природы. Вот почему столько новых сочетаний материи, которые наши новейшие открытия показали нам, так мало обогатили нашу поэзию. Это потому, что все эти представления, хотя являются чувственными, нисколько не привлекательны для наших чувств, по крайней мере, очень немногие из них обладают этим преимуществом; следовательно, сообщение стилю большего смысла и сдержанности есть следствие прогресса философии. Нужно также избегать доводить даже наиболее пленительные представления о природе до анатомической детализации; они тогда теряют свою приятность, и только таким образом смысл, вложенный в них, может отталкивать. Я полагаю, что сложившийся язык народа, закрепленный великими писателями, более не изменяется. Так, я думаю, что упадок литературы в Италии и Греции имел место лишь значительно позже, чем это принято думать, и что тогда поэзия дошла до той же степени упадка, что и всякие другие знания,— упадка, обусловленного порчей нравов империи. Относительно красноречия я в другом месте указал причину.

Древние ввиду их почтенного возраста находятся под покровительством педантизма. Известно, насколько тщеславие показать свою эрудицию было вредно для вкуса во все времена.

Стремиться сохранить восхищение к великим образцам путем установления вкуса, исключаяющего новые жанры,— значит поступать, как турки, которые полагают, что для сохранения добродетели жен необходимо держать их взаперти. Что толку всегда восхищаться, ничего не создавая? Подобный педантизм погубил греческую литературу при господстве римлян.

Есть умы, которые природа наделила памятью, способной впитать массу знаний, и точным рассудком, умеющим их

сравнивать и располагать так, что они могут быть представлены во всем их объеме, но в то же время она им отказала в смелости гения, который изобретает и открывает себе новые поприща. Предназначенные соединять открытия других с точки зрения, наиболее способной их осветить и совершенствовать, они если не являются самоцветными камнями, то, как алмазы, блестяще отражают заимствованный свет, но в глубокой темноте остались бы смешанными с наиболее простыми камнями. Эти умы должны явиться последними.

Не нужно думать, что во времена ослабления и упадка, и даже в эпохи варварства и мрака, следующие иногда за наиболее блестящими веками, человеческий разум не делает никаких успехов. Механические искусства, торговля, гражданская жизнь порождают массу размышлений, распространяющихся среди людей, смешивающихся с образованием и количественно увеличивающихся из поколения в поколение. Они медленно, но верно готовят более счастливые времена подобно тем рекам, которые на своем пути местами скрываются под землей, но через некоторое расстояние вновь показываются, увеличенные широким пригоком вод, просачивающихся сквозь все поры почвы, которую невидимо пересекает течение, обусловленное естественной покатостью.

Механические искусства никогда не переживали такого упадка, как изящная словесность и умозрительные науки. Искусство, раз изобретенное, становится предметом торговли, обеспечивающей ему самостоятельное существование. Не приходится опасаться, что искусство изготовлять бархат будет забыто, пока найдутся покупатели на этот товар. Механические искусства, таким образом, существуют и при упадке литературы и вкуса, а если существуют, то, следовательно, совершенствуются. Какое бы то ни было искусство не может культивироваться в продолжение длинного ряда веков без того, чтобы не пройти через руки некоторых изобретательных умов. Поэтому-то мы видим, что, невзирая на невежество, царившее в Европе и в греческой империи, начиная с V в., искусства обогатились тысячами новых открытий, причем ни одно более или менее важное из них не было забыто.

Мореходное искусство и торговля совершенствовались. Этим векам мы обязаны введением в повседневное употребление векселей и наукой ведения торговых книг, являющейся наиболее совершенным способом счетоводства. Тогда же бы-

ли изобретены хлопчатая бумага в Константинополе, тряпичная на Западе, оконное стекло, большие зеркальные стекла; стало известно искусство изготовлять из них зеркала, зрительные стекла; были изобретены также компас, порох, ветряные и водяные мельницы, часы и масса других предметов, неизвестных в древности.

Архитектура нам дает пример взаимной независимости вкуса и механических приемов в искусствах. Нет зданий, построенных с более дурным вкусом, чем готические постройки, и в то же время нет сооружений более смелых, ни таких, способы выполнения которых требовали бы большей активности и больше практических знаний. Эти способы могли быть только результатом многочисленных опытов, ибо математические науки были тогда в состоянии младенчества и давления сводов и кровлей не могли быть с точностью вычислены.

Нужно было, чтобы эти искусства разрабатывались и совершенствовались, дабы истинная физика и высшая философия могли зарождаться. Они дали возможность производить точные и доказательные опыты. Без изобретений зрительных труб никогда не возможно было бы вычислить орбиты движений планет. Точно так же, как без изобретения всасывающих насосов нельзя было бы никогда открыть вес воздуха.

Будем же остерегаться смешивать успех в области механических искусств со вкусом в искусствах и даже с умозрительными науками.

Вкус в искусствах может быть утерян в силу множества чисто моральных причин. Дух вялости и изнеженности, распространяющийся среди народа, педантизм, презрение к литераторам, причудливость вкуса государей, тирания и анархия могут его извратить.

Не так обстоит дело в области умозрительных наук. Пока существует язык, на котором книги написаны, и пока остается некоторое количество ученых, все то, что стало достоянием нации, не будет забыто. Правда, тогда науки не совершенствуются, ибо их изучают лишь немногие, и, следовательно, гений может быть только редким явлением, но они, тем не менее, не всецело забываются¹. Поэтому грече-

ские риторы, перешедшие в Италию после взятия Константинополя, знали все то, что было известно в древней Греции. Но они были лишены вкуса и критического духа. Они были только учеными.

Нашествие варваров на Западе было более губительно. Разрушая латинский язык, они привели к тому, что книги, написанные на этом языке, стали непонятны. Мы бы их не имели, если бы некоторые из них не сохранили монахи.

Искусства существовали, невзирая на это общее бедствие. Чтобы их сокрушить, нужны были еще более жестокие удары. Только турки стремительностью своих завоеваний могли обратить их вспять. Это нужно менее приписывать их религии, не помешавшей испанским маврам быть чрезвычайно просвещенными для своего времени, чем природе их деспотизма, о котором мы выше говорили, и полной обособленности наций, подчиненных их владычеству, обособленности, повлекшей за собой в государстве междоусобные войны и породившей равновесие угнетения и возмущения. Воспитанные в гаремах, в очаге изнеженности и власти, одновременно невежественной и абсолютной, власти, способной вырождаться только в обыкновенную жестокость, турки не имели никакой промышленности и знали только насилие. Греки, подавленные наиболее тяжким игом, были всегда запуганы. Изнеженные турки и угнетенные греки, не уверенные одни, как другие, в своем положении, в своем имуществе, в своей жизни, не могли задумываться над тем, чтобы сделать более приятным столь беспокойное и столь недолгое существование. Поэтому мы у них не встречаем никаких искусств, исключая самых необходимых, и то немногое, что сохранилось в гареме, свелось к бесвкусу механическому ремеслу.

Изобретение книгопечатания не только распространило знания, заключающиеся в старых книгах, но также способствовало широкому ознакомлению с новыми искусствами и значительно благоприятствовало их усовершенствованию. Раньше множество удивительных практических сведений, переходивших по традиции от одного рабочего к другому, не возбуждало любопытства философов. Когда же книгопечата-

¹ Революции, обуславливающие упадок красноречия и вкуса в изящных искусствах, но сставляющие, однако, память и некоторые

следы наук, подобны пожарам, опустошающим иногда леса. Видны еще некоторые бесформенные стволы, стоящие во весь рост, но лишенные ветвей и листьев, без цветов и без убранства.

ние облегчило сообщение знаний, начали их описывать в —
интересах рабочих. Благодаря этому ученые узнали тысячи
остроумных, но неизвестных им дотоле приемов, и для них
открылся неисчерпаемый источник новых понятий, полных
интереса для физики. Перед ними точно открылся новый мир,
где все возбуждало их любознательность. Отсюда рождается
склонность к опытной физике, где без помощи механических
изобретений и процессов никогда нельзя было бы рассчиты-
вать на большие успехи ¹.

¹ Здесь прерывается „Рассуждение“ Тюрго. Автор больше не
возвращался к этому наброску и оставил его незаконченным. Пе-
ревод сделан по изданию Гильомена (Guillaumin, Paris, 1844). — *Прим.
перев.*

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЯЗЫКАХ

I. ОБЩИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ И РАЗЛИЧНЫЕ МЫСЛИ¹

(Польза изучения языков для метафизики и истории)

Мы знаем теперь, что польза изучения языков не ограничивается тем, чтобы сделать общими для всех наций богатства духа. В нашем веке философия или, скорее, разум, распространяя свое господство над всеми науками, сделал то, что некогда сделали завоевания римлян среди народов: разум объединил все части литературного мира, он опрокинул преграды, делавшие из каждой науки как бы отдельное, независимое по отношению к другим государство. Было замечено, что образование и происхождение слов, незаметные изменения, смягчения, успехи и порча языков были подлинными феноменами, обусловленными определенными причинами, и с тех пор все это стало предметом исследования философов. Истинная метафизика, дорогу которой нам первый открыл Локк, еще лучше доказала, насколько изучение языков могло бы стать любопытным и важным, показывая нам, каким образом мы употребляем знаки, чтобы постепенно подниматься от идей чувствительных до идей метафи-

¹ Тюрго, согласно Дюпону, задумал и начал труд об *образовании языков и общую грамматику*; найдено было только *предисловие* и *несколько разрозненных наблюдений*. Последние печатаются здесь.

В „Жизни Тюрго“ Кондорсэ говорит, что Тюрго составил полный список звуков языка и к каждому звуку он старался подобрать букву. В этот список вошли все оттенки произношения, и он довел число букв до 38. Посредством этих букв всякий мог бы, по мнению Тюрго, с большой легкостью научиться одновременно и читать и писать. Этот труд не был найден в его бумагах.—Прим. Р. Шелле.

числеческих и чтобы связать ткань наших рассуждений; она дала почувствовать, что это орудие (язык), которое создал разум и которым он так широко пользуется в своих операциях, может представить много важных соображений о механике его строения и его действия.

Люди видели, что знаки наших идей, изобретенные для того, чтобы их сообщать другим, служили еще для обеспечения нам обладания ими и для увеличения их числа; что знаки и идеи образовали как бы два соотносительных порядка вещей, которые в своем развитии следовали один за другим со взаимной зависимостью, которые шли как бы по двум параллельным линиям, через те же извилины и вечно опираясь друг на друга; что, наконец, было невозможно хорошо знать одного без того, чтобы не знать обоих. Так как наши отвлеченные идеи не имеют образца, вне нас существующего, и являются только знаками наших коллективных идей, все рассуждения философов были бы лишь неизменными двусмысленностями, если бы путем справедливого анализа не было бы с точностью отмечено, какие идеи входят в состав этих отвлеченных идей и в особенности до какой степени они определены. Невозможно было бы читать древнего философа, не распознавая, насколько отсутствие этой осторожности было причиной заблуждений.

Хорошо выполненное изучение языков было бы, может быть, наилучшей логикой анализируя, сравнивая слова, их составляющие, следуя за ними от их образования до различных значений, которые им впоследствии присвоили, мы проследили бы, таким образом, нить идей, мы увидели бы, через какие ступени, через какие оттенки люди прошли от одного значения к другому; мы уловили бы имеющуюся между ними связь и аналогию; мы могли бы дойти до открытия первичных значений и до выявления порядка, который люди соблюдали в сочетании этих первых идей. Эта своего рода *экспериментальная метафизика* была бы в то же время историей разума человеческого рода и прогресса его мыслей, всегда соразмерного с потребностью, породившей эти мысли. Языки являются одновременно их выражением и мерилom.

История народов не менее освещается значением языков. Исторические времена, не удаляющиеся значительно дальше эпох изобретения письменности, заключены в очень ограниченном для нашей любознательности пространстве; далее — не-

определенная и темная пустота, которую воображение для своего удовольствия наполнило тысячами басен. В этих-то потемках теряются далеко от нашего взгляда первоисток народов. Древние путешественники когда-то воздвигали колонны с надписями, которые должны были служить памятниками об их проходе. Древние народы в своих передвижениях оставили в виде памятников названия на своих языках, данные лесам, рекам и горам; часть этих языков сохранилась, смешалась с языком более древнего населения и с языком новых завоевателей, которые увеличили это смешение. Темные, но драгоценные памятники; они единственные, оставшиеся нам от этих отдаленных времен, единственные, могущие бросить слабый свет на происхождение многих обычаев, распространенных теперь среди весьма удаленных друг от друга народов, между которыми мы не подозреваем, чтобы когда-либо существовала связь. Этими памятниками можно пользоваться для разъяснения древних преданий, для распутывания хаоса мифологии и для открытия следов многих исторических фактов, смешанных теперь с затемняющими их баснями.

С этих двух точек зрения и, в особенности, с первой я рассматривал немногие языки, которые мне удалось изучить. Я полагал, что было бы полезно выбрать среди них один и подвергнуть его точному анализу. Настоящее рассуждение предназначается в качестве введения к этому труду. Я начну с исследования происхождения и начала языков. Я попытаюсь проследить ход идей, влиявший на их образование и на их развитие, и я постараюсь открыть принципы общей грамматики, которая регулирует все языки. Я остановлюсь подробно на следствиях, вытекающих из их различных смешений и из того, что называют аналогией и духом языков. Я изложу затем задуманный мною метод их анализа и представлю разработанный мною план этого труда¹.

II. ДРУГИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЯЗЫКАХ

(Примеры образования слов)

1. Языки, являющиеся знаками и выражением наших мыслей, суть также точное мерило наших знаний. Изобретенные в

¹ Отрывок „Примеры аналогий в метафорах“ как узко специальный опущен. — Прим. перев.

силу потребности, всегда соразмерные с ее объемом, их границы суживаются и расширяются, как и границы идей. Наречие первых людей было грубым, как и они. Ограниченные актуальными ощущениями и памятью о прошедших ощущениях, они умели выражать лишь чувства радости, страдания, страха, восхищения жестами и естественными криками: *a! o! ай!*, которые мы называем междометиями. В отношении предметов, поражающих их чувства, по мере того как давала себя чувствовать потребность выражать получаемые впечатления, они употребляли некоторые знаки, обыкновенно сопровождаемые для большей ясности указательным жестом.

2. Эти знаки произвольны в том смысле, что они не связаны необходимо с тем, что они означают; но не нужно думать, что они были единственно следствием свободного и разумного выбора. Люди неспособны были понимать, какую пользу они могли бы извлечь из сообщения своих мыслей и, следовательно, условиться выражать их знаками. Те, кто знает, насколько трудно людям образовывать, я не говорю новые идеи, но новые сочетания идей, хорошо почувствуют невозможность подобного соглашения; тех, кто в этом не был бы убежден, я приглашаю попытаться выдумать некоторое количество новых терминов. Труд, который они на это затратят, покажет им, насколько это было бы трудно для первых людей, не имевших, как мы, памяти, уже загруженной большим числом слов и елогов, которые нужно было бы только сочетать. Это соображение убеждает нас еще в бесплодности человеческого разума.

Достаточно рассмотреть животных и растения, которые наши художники или наши поэты пожелали бы изображать; они могли сочинить свои химеры, своего centaвра, своего типографа, только соединяя довольно грубо части наиболее известных частей животных, между тем как, напротив, открытие нового мира представило нашим глазам огромное разнообразие видов, совершенно отличных от тех, которые мы видим в Европе. Также верно, что воображение, считающееся столь обширным, несравненно более ограничено, чем природа, и даже чем природа, подчиненная нашим чувствам, и что единственное средство много воображать—это много видеть. Не будем же искать начала языков в произвольном соглашении, которое, впрочем, предполагало бы уже установленные знаки, ибо как люди могли бы договориться при отсутствии языка,

3. Люди следовали за природой, которая их вела, не зная, куда их приведет; тот, кто первый произнес слово, думал им пользоваться для выражения своей актуальной потребности, а отнюдь не для того, чтобы изобрести общее выражение этой потребности. Таким образом, первые знаки носили с собой свое толкование, иначе их нельзя было бы понять. Нужно было еще, чтобы они были порождены самими обстоятельствами предмета, иначе где могли бы их взять. Первый знак потребности или желания заключался, вероятно, в протягивании руки к предмету и в ее возвращении к себе. К этому присоединялось несколько нечленораздельных звуков. Если этот предмет производил некоторое впечатление на чувство слуха, некоторый шум, этот шум становился его именем; если это было животное, то подражали его крику,—это и есть звукоподражание, или звукоподобие, являющееся наиболее общим источником слов, вошедших в состав наших языков. Оно также причина, вследствие которой народы, говорящие на чрезвычайно различных языках, дают часто вещам одни и те же наименования. Исследуйте слова, общие народам, весьма удаленным друг от друга, и вы увидите, что, если между ними не было сообщения, это подлинное звукоподражание. Таковы многие названия животных: *bos corvus, grillus*¹ и т. д. слова, выражающие их различные крики: „ржать“, „блехать“, „мяукать“², и почти все слова, означающие шум или удар, его вызывающий, как „гром“, „хлоп“, „бить“, „удар“,³ и большое число других, которых я не могу припомнить и которые находятся во многих языках.

4. Есть слова, которые имеют еще более общее распространение среди народов, которые не обязаны своим происхождением звукоподражанию. В этот класс я помещаю, кроме междометий, слова „*papa*“, „*баба*“, „*мама*“, употребляющиеся всеми нациями нового мира, как и старого, чтобы означить *отец, бабушка и мать*. Слоги этих слов первые, которые ребенок может произнести, ибо они самые легкие, и поэтому он ими наделяет первые встречающиеся ему предметы; и „*мама*“ всюду имя матери, потому что оно произносится легче, чем

¹ Гусский перевод — бык, ворон.

² Соответственные французские слова: *hennir, seler, miauler*.

³ Соответственные французские слова: *fragor, fracas, claque, trappet, choc*.—Прим. перев.

„*papa*“, и потому, что ребенок знает свою мать раньше своего отца. Эти наименования были по той же причине даны женским грудям (*mamelles* по-французски). И если даже среди других народов употребляются другие наименования, чтобы означить *отец* и *мать*, то обыкновенно в этих словах замечается что-то детское, легко произносимые буквы и почти всегда повторение тех же звуков. Так, в старо-германском, или готическом, языке и еще теперь на фрисландском диалекте „*amma*“ (*atta*) или „*mama*“ (*tata*) значит отец; по-древнееврейски „*dad*“, по-гречески „*tumon*“, по-французски „*teton*“ (*teton*) и по-английски „*бубби*“ означают женскую грудь.

5. Что касается предметов, не поражающих чувства слуха, то они немногочисленны; знаки нечувствительных вещей были сначала применены к чувствительным вещам, и между последними немногие не издают звука. Огонь не зажигается и вода не течет без шума, дерево, когда ветер колеблет его листья, даже камень, падая, издает звуки. Тот, кто первый дал наименование этим предметам, может быть, заметил какое-либо из этих обстоятельств, поразивших его мгновенно. Может быть, что это обстоятельство было чуждо вещи, которую человек хотел обозначить; возможно, что это было лишь случайное или воображаемое отношение с другим. Наконец, эти предметы всегда были обязаны своими наименованиями случайным встречам, которые бесполезно искать и невозможно разгадать.

Добавляю, что есть известная аналогия между нашими различными чувствами, аналогия, подробности которой мало известны и которая, для того чтобы стать известной, потребовала бы ряда тонких наблюдений и довольно трудного анализа операций ума; на последние она много влияет и их часто направляет, хотя это не замечается. Эта аналогия основана либо на самой природе нашей души, либо только на связи, которую мы устанавливаем между известными идеями и известными ощущениями, которые мы в силу свойственной нам привычки испытываем одновременно, будет ли она одна и та же у всех людей или она будет различаться сообразно временам, местам и умам. Например, когда говорят, что вкус граната *кислый* (*acide*), то это отнюдь не метафора, так как этот род вкуса не имеет другого имени. Между тем это слово вначале означало заостренный (*pointu*) и происходит от *acus* — острый конец (*pointe*); никто не поверит, что

когда-либо можно было сказать, что этот вкус был *круглый* или *квадратный*. Верно, однако, что нет отношения между острым концом и предметами вкуса, но нет ли некоторого сходства между ощущениями кислоты и укола? Говорят, что кусок дерева *раскалывается* (*éclate*), говорят *громкий* (*éclatant*) звук, *сверкающий*, *яркий* (*é latante*) свет; без сомнения, между всеми этими вещами и между бесконечным числом других существуют многие отношения, достойные того, чтобы философы их констатировали и объяснили, ибо в этих отношениях люди часто черпали знаки для своих идей.

6. Вполне понятно, что разнообразие обстоятельств и отношений, о которых мы только что говорили, должно было обусловить большое разнообразие в наименованиях большинства предметов. Это разнообразие должно также распространиться на слова, происходящие из звукоподражания, ибо это подобие звука не точно и не могло быть точным. Колебание воздуха, производящее звуки, делает их бесконечно разнообразными, в зависимости от причин, вызывающих колебание. Не может быть двух видов тела, удар которых производил бы на наши уши сходное впечатление одно только движение воздуха, меняющееся вследствие встречаемых им препятствий, порождает тысячи звуков. Наши органы далеко не в состоянии их все усвоить, и мы даже не могли бы употреблять для обозначения предметов все те звуки, которые мы можем образовать, так как многие из них не способны служить знаками.

7. Хотя каждый звук в отдельности поражает наше ухо или скорее нашу душу лишь как простое ощущение, тем не менее это самое ухо заставляет нас тут различать три особых оттенка этого ощущения, которые служат основанием трех различных приемов для сравнения между собой звуков. Так, мы различаем в звуках: интенсивность, или большую или меньшую силу; музыкальный тон, высокий или низкий; наконец, сам звук, в котором мы распознаем разнообразие — последнее мы чувствуем, но можем определить лишь говоря, что один не похож на другой, одинаково не зная ни природы, ни причин этого разнообразия. Мы знаем, что сила звука зависит от количества воздуха, находящегося в колебании, и что музыкальный тон зависит от скорости его колебаний; одно и другое суть только отношения. Мы можем их оценить только путем сравнения звук, рассматриваемый отдельно,

ни силен и ни слаб, ни *ut*, ни *re*, ни *sol*; мы не имеем никакой установленной точки, чтобы судить об его абсолютной силе или высоте. Это единственное основание помешало бы людям пользоваться звуком для означения предметов, но есть много других, о которых бесполезно говорить.

Другое различие, которое мы замечаем в звуках, имеет нечто более абсолютное, и, может быть, именно в силу этого мы так мало знаем его природу. Но то, что делает его непроницаемым для нашего любопытства, делает его весьма полезным для выражения наших потребностей и наших идей. Всякий звук имеет различный характер, позволяющий его узнать независимо от всякого другого и связывающийся в уме непосредственно с идеей, знаком которой он является. Звуки предметов природы благодаря легкости, с которой мы их различаем и им подражаем, доставили нам род естественного языка, весьма несовершенного, но который сберег нам первые шаги, всегда трудные и длинные, когда их приходится делать с помощью размышления.

8. Но возвращаясь к пункту, от которого нас удалило это отступление о природе звуков, нужно сказать, что нам необходимо было бы точно подражать всем звукам природы. Но их разнообразие почти бесконечно, а мы насчитываем во французском языке только пятнадцать гласных и девятнадцать согласных букв, включая сюда придыхание *h*. Многие народы имеют согласные и гласные буквы, которых нет в нашем языке, и не имеют тех, которыми он обладает; мы не знаем двугласных букв (дифтонгов), столь обычных во многих языках. Люди, таким образом, подражали звукам природы лишь приблизительно, и это приближение бывает и большее и меньшее.

Уклонение, которое всегда предполагает приблизительно-ность подражания, может быть сделано с трех различных сторон. Предложите нескольким французам произнести английские *th*: один произнесет *d*, другой *ts* и третий *s* или *z* или *g*, но ни один из них не добьется надлежащего произношения, иначе как после довольно долгого упражнения. То же самое я скажу о древнееврейском *ghnain*, которое произносят *gain*, *khaïn*, *gnain*, *ngain*; само ухо затрудняется различать звуки, для которых оно не создано, и эти изменения одной буквы в другую, производимые так часто этимологами, происходят только от этого затруднения

Первые люди, желая подражать естественным звукам, были в том же положении, в котором мы находимся, когда хотим подражать звукам иностранных языков, с тем различием, что наши органы имеют с органами иностранцев сходство, которого они не имели с звучащими телами, и что привычка сделала наши органы более гибкими, чем они были у первых людей. Звуки, которые образовывали последние, были еще значительно менее членораздельны, чем наши, и поэтому значительно более подвергались смешению.

Выбор, предшествуемый длинным рядом опытов, ограничил количество звуков наших языков до небольшого числа, а именно тех, которые производились определенным движением органов. Мало-помалу люди перестали пользоваться средними звуками между известными буквами. Таковы многие придыхания, столь частые в древнееврейском языке: таков средний звук между *l* и *d*, который я беру для примера, ибо его легко объяснить: *l* произносят, упирая конец языка в небо на некотором расстоянии от зубов, а *d* — поднимая конец языка к верхней челюсти; если заносить язык в промежуточное пространство, звук будет другой.

Первые люди в силу затруднений, испытываемых ими при образовании звуков, достаточно приравливали свои органы всякими способами; они пробовали один звук, чтобы перейти к другому, и часто в быстроте этого перехода оба звука почти смешивались. Отсюда это множество придыханий, свистов, сложных звуков, которыми кишат древние и мало культивированные языки. Люди со временем почти полностью их изгнали из своих языков, выбирая звуки, требовавшие более определенного движения языка, достигаемого либо сочленением его мускулов, либо благодаря расположению тех частей рта, где он кончался.

9. Коль скоро эти принципы установлены, легко понять, что один и тот же естественный шум мог быть подражаем на тысячу различных ладов, что в силу невозможности подражать точно люди то употребляли два звука, чтобы выразить один простой, который был ни тем ни другим, то заменяли простой звук сложным. Легко понять, что одни и те же предметы должны были получать множество различных наименований, что они их получали иногда от людей, не имевших между собой никакого общения. И так как история представляет нам первых людей рассеянными там и сям в ле-

сах и почти без общения между собой, то видя, что языки берут свое начало от природы и между собой различны, мы не должны этому удивляться более, чем зрелищу того, что деревья, происходя из одних и тех же зародышей и развиваясь согласно одним и тем же законам, образуют благодаря переплетению своих веток всякого рода фигуры. Природа, употребляя одно и то же средство для произведения индивидуумов одних и тех же видов, всегда оставляет им известную свободу, благодаря которой они оказываются подобными по общим отношениям, но в то же время они все имеют частные черты, которые их различают. Этот закон распространяется на духовные и телесные существа.

Если языки с их первых шагов должны были так сильно уклониться друг от друга, то их прогресс, без сомнения, их не сближал. Однако, нужно это признать, во всех этих различиях мы видим известное сходство; можно всегда находить след действия природы, которая направляла их все по одному и тому же плану, потому что она всюду одинакова. Эти различия и отношения я постараюсь объяснить, рассматривая языки в их развитии.

10. Человек употребил звук для обозначения предмета. Тот, кто слышал этот звук, повторял его в подобных случаях, мало-помалу он связывался в их уме с идеей этого предмета. Их дети научались схватывать эту связь и ее использовать, как они теперь начинают своему материнскому языку. Это был язык семьи. Умножавшиеся потребности давали возможность различать отдельные части предмета, наблюдать различные отношения и образовать абстракции. Были изобретены новые знаки. Люди, придумав в отдельности различные знаки для одних и тех же предметов, сближались, чтобы договориться. Нужно было выбирать слово, которое чаще повторялось, становилось наименованием предмета; так обычно сохранялось наименование, данное предмету в наиболее многочисленной семье. Но так как было невозможно, чтобы два слова всегда употреблялись при одних и тех же обстоятельствах, то наиболее привычное собственно обозначало предмет, другое обозначало его лишь при наличии частного обстоятельства, к которому оно было приурочено во время соревнования двух наименований. Языки не имеют других синонимов.

Вот два источника развития богатства языков — прогресс

идей и смешение народов. Я начинаю прогрессом идей, перейду к смешению народов и прослежу эти две причины в их соединенных следствиях.

III. О СЛОВЕ ЛЮБОВЬ И О ЛЮБВИ К БОГУ

1. То, что хочешь услышать больше всего, очень часто слышишь меньше всего. Слова, употребляемые в обычном пользовании и применяемые то к одной, то к другой вещи, являются, в особенности, чрезвычайно темными и непригодными для пользования в рассуждениях, если четким анализом не был определен их точный смысл. Нет другого средства достигнуть здесь успеха, как исследовать происхождение слова и различные обстоятельства, при которых оно употребляется: ибо так как слово само по себе ничего не означает, то ясно, что только в повседневном пользовании им нужно искать его смысл, потому что смысл слова это идея, которую оно возбуждает в уме тех, кто его слышит.

Слово, которым злоупотребляют больше всего—это слово *любовь*, применяемое к божеству.

2. Я отмечаю, сначала, что этимология этого слова происходит от взаимной нежности отцов и детей: из ама (*ama*), мать, сделали в древнееврейском языке *амам*, *амавит* (*amat*, *amavit*), люблю, любил и в латинском языке из *ама*—амо (*amo*) люблю, оно означает нежность, которую родители чувствуют к своим детям и которая их побуждает доставлять им все то, что может способствовать их счастью. Это чувство нежности распространяется на много других предметов, на друзей, на любимую женщину, даже на животных; но она может иметь предметом только одушевленные существа; можно испытать чувство нежности при виде неодушевленных существ лишь в том случае, если они рассматриваются как знаки, напоминающие нам идею лиц, которых мы любили. Кажется, что эта нежность заключает поворот на нас самих, род сравнения нас с любимым предметом, которое может иметь место, только когда речь идет об одушевленных существах. Когда говорят я люблю известные блюда, прогулку и т. д., то это говорится в другом смысле, который мы сейчас объясним.

Любовь к лицам другого пола заключает, кроме этого чувства, желание наслаждаться удовольствиями, связанными с соединением тел; слово *любовь* распространилось на всю

идею, связанную с этими чувствами, и так как желание наслаждения ему свойственно на ряду со всеми желаниями, возбуждаемыми в нас чувствительными предметами, то пользовались словом любить для выражения этих желаний. Говорят: *любить мясо известных сортов, любить известные фрукты, любить вино, любить картины, любить вообще чувствительные вещи.* В этом смысле пусть каждый отдаст отчет себе самому в том, что он понимает под словом *любить*, и он найдет, что это нечто иное, как находить удовольствие в наслаждении вещью. Еще одно чрезвычайно важное замечание— это слово наслаждение применяется безразлично к различным предметам: *наслаждаться концертом, наслаждаться картиной, наслаждаться кушаньем* суть три вещи, имеющие общее лишь в приведении души в приятное состояние.

Каким образом находят удовольствие в наслаждении чувствительными предметами, каким образом приложение наших органов к этим предметам возбуждает в нас это удовольствие? Это то, что нельзя объяснить без знания природы нашей души более глубокого, чем мы на это способны.

3. Вот, таким образом, два отличных вида любви: один выражает нежность по отношению к одушевленному существу, и который я назову *любовь угождения*; другой заключает идею пользования предметом и желание им наслаждаться или по крайней мере привычку его вкушать, и который я назову *вкус* или *желание*.

Нужно, однако, здесь сделать замечание, что, невзирая на отличие, которое я установил, в природе вещей есть известные отношения между обоими видами любви.

Вспомните состояние души, когда она испытывает продолжительное ощущение удовольствия— свежесть тени, запах цветов и эту смесь неясных ощущений, внушаемых зрелищем поля и всех предметов природы.

В этом есть нечто от той угодливости, которую я приписываю в качестве основной черты нежности. Это, однако, еще не *нежность*; это оттенок между ней и вкусом, который мы имеем к неодушевленным предметам; это называется *любовью*; это подлинное наслаждение, но чувство нежности в нем также подлинное и быть может наиболее сладкое из всех.

Таким образом, слово *любить*, взятое в этом смысле, значит *наслаждаться этим чувством*. Во всяком другом слу-

чае оно означает только немного длительное желание наслаждаться предметом, или просто привычку находить в этом удовольствие.

Не то, чтобы нежность не рождала желаний; но эти желания суть подлинные желания самой этой нежности. Мы любим друга, мы желаем его вновь повидать. Я скажу, мы желаем наслаждаться еще более живо нежностью, которую мы питаем к нему, ибо наибольшее удовольствие, которое нам доставляет любовь,— это любить.¹

8. Обычно говорят, что всякий человек любит добро вообще. Это можно было сказать во все времена только о любви желания; никогда люди не питали чувства нежности к добру вообще, которое не является ни частным существом, ни одушевленным. Но даже в отношении любви желания это не совсем верно: отвлеченная идея не может быть предметом желания, в собственном смысле, которое, как это заметил Локк, есть род беспокойства, причиненного лишением предмета. Верно только то, что всюду, где душа найдет чувство удовольствия, она его пожелает; но тут нужно остерегаться: я сказал *чувство*, а не *знание*. Опыт доказывает, что знание не возбуждает желания в собственном смысле; желание предполагает вкус, а вкус— чувство. Мы не желаем предметов, о которых мы не можем себе образовать чувствительных образов; известны случаи, когда крестьяне не были тронуты предложенными им большими суммами денег, потому что они не могли себе образовать идею счастья, которое эти деньги им доставили бы. Следовательно, идея добра вообще является лишь абстракцией и не может возбуждать желания.

9. Нам много говорят о том, что мы должны желать то, что достойно желания, любить то, что достойно любви. Забавные доводы! Точно мы желали бы и любили бы таким же манером, как логик выводит следствия из силлогизма! Точно всякое желание не было бы следствием потребности! Эти люди впадают в заблуждение, весьма обычное у метафизиков,— это рассматривать как абсолютную реальность чисто относительную идею.

Автор труда „*Действие бога на тварь*“ говорит о неощущаемых красотах божественной сущности; что этим автор хочет

¹ 4, 5, 6 и 7 параграфы отсутствуют в оригинале.— Прим. пера.

сказать? Откуда нам пришла идея красивого? От чувств. Мы называем красивым то, что имеет отношение с органами зрения, слуха и с некоторыми из наших умственных способностей, поскольку мы чувствуем известное удовольствие в результате их приложения к предмету. Точно также „бесконечно любимый, бесконечно желанный“ есть чистая галиматья. Только то может быть желанным и любимым, что имеет с нами отношения, что возбуждает в нас эту нежность, — о которой мы говорили, или те желания, которые являются лишь чувством нашей потребности. Если мы обратимся к опыту, то найдем, что эти отношения нам даны с различными предметами, сообразно с различными видами общества. Материнская нежность необходима для воспитания детей; нежность двух полов должна была быть добавлена к привлекательности удовольствия, потому что, так как воспитание детей должно быть длительным, нужно было, чтобы отец и мать были соединены и могли бы о них заботиться. Вообще, чувства, добавляющие к нашим удовольствиям наслаждение счастьем другого, нежность людей одних к другим, сообразно различным взаимоотношениям, были необходимы для поддержания общества. Сострадание, любовь к отечеству, дружба — суть чувства такого же порядка.

10. Наши чувствительные желания предназначены либо для благосостояния, либо для сохранения нашего тела, в частности, и рода вообще. Нужно, однако, признать, что есть такие виды желания и даже нежности, которые не относятся к чувствительным предметам. Я объясняюсь: я знаю, что человек, которого я никогда не видел и никогда не увижу, мертвый человек, был великодушным, нежным, благотворным: Тит, Людовик XII, Генрих IV; я читаю в историях подробности их действий; я испытываю по отношению к ним чувство, аналогичное тому, что я называю нежностью; я их поистине люблю. Но почему? Потому, что я их представляю моему воображению, а предметы воображения влияют на душу, как предметы чувств, хотя менее живо.

Те, кто нам оказывал услуги, получают от нас еще особое чувство нежности, называемое *признательностью*, которое, следовательно, может нас привязать к существу, известному нам только по своим благодеяниям.

11. Хотя отвлеченное знание, сообщаящее нам, что такая или иная вещь нас поведет к счастью, не могло бы возбу-

дить в нас того беспокойства души, откуда рождается желание, оно, однако, может произвести в нас нечто равноценное. Желание добра вообще не есть чувство, оно является отвлеченным принципом, образуемым в соответствии с частными желаниями каждого блага. А эти отвлеченные принципы, когда они верны, когда их приложение достоверно, нас на практике побуждают разумно предпочитать верное счастье, хотя и не чувствительное, другому, меньшему и более чувствительному. Так, мы предпочитаем вечные блага, о которых мы не имеем ни идеи, ни чувства, земным удовольствиям; но верно и то, что первые не вызывают у нас беспокойства души, по крайней мере, если мы их себе не представляем под чувствительными образами; сказанное может нам подтвердить опыт. Это не значит, что я хочу отрицать, что открытие какой-либо истины может нам дать подлинное чувствительное удовольствие, что наше сердце может быть взволновано рассуждением об истине, о добродетели, об общем счастье, и без всякого частного приложения. Но в первом случае это любопытство, являющееся одной из наших потребностей, т. е. что беспокойство им вызванное прекращается лишь по нахождении истины, наконец, получаемое тут удовольствие есть лишь исполнение желания. Желание же всегда носит частный характер. Чаше всего оно основано на какой-нибудь чувствительной вещи или, если хотите, на том, что душа видит, что ей не хватает чувствительных идей, что это знание, эта достоверность, необходимые для ее спокойствия, от нее убегают, и так как одно открытие всегда рождает множество вопросов для нас неразрешимых, так как поле знания всегда распространяется перед нашими глазами по мере того, как мы по нему пробегаем, душа переходит от одного желания к другому, равно как от одной истины к другой, не переставая ни желать, ни изучать и, однако, никогда не стремясь все знать, равно как никогда не зная всего

12. Во втором случае, если красноречие способно нас взволновать одними только идеями истины, добродетели, общего счастья, то это часто потому, что воображение делает из этого частные приложения и всегда потому, что слова, достигшие выражения этих отвлеченных идей, только применяясь почти всегда к частным и чувствительным предметам, остаются в нашей душе связанными с чувством, которое эти

предметы в нас вызывают; это потому, что вообще чисто отвлеченные и всеобщие идеи нам не свойственны; они являются таковыми в своем грамматическом значении; но они всегда открывают массу побочных идей, с которыми они связываются и через которые, быть может, мы только можем их схватить. Если под чувством *любить бога* понимать только подобные чувства счастья, то я согласен, но, говоря с философской строгостью, это чувство собственно обязанность. К памяти о некоторых приятных ощущениях добавляется известная степень чувства, которое через смешение и смятение идей делается неопределенным и смутным.

Мне кажется, что этот анализ любви устраняет много затруднений.

13. Спрашивают, является ли любовь корыстной? На этот вопрос очень легко ответить.

Говорим ли мы о нежности? Ясно, что она бескорыстна; нельзя более любить предмет потому, что находишь в нем свою выгоду, равно как нельзя наслаждаться красивой музыкой по этому самому мотиву. Говорить, что мы можем любить лишь потому, что в любви находим удовольствие и отсюда заключать, что любовь корыстна, это тоже самое как если бы мы сказали, что находят запах розы приятным, вследствие заинтересованности, так как это доставляет удовольствие; одно и другое чувство основаны на отношении предметов к нашим органам, к нашим способностям, и это отношение необходимо. Тут есть только возможность обратить внимание на предметы, могущие нам внушить чувства нежности, подобно тому как можно приблизить розу к своему носу. Правда, что все, что носит характер приятности, все, что может нам дать это удовольствие, внушает нам это чувство в пользу лиц, доставивших нам это удовольствие; красота, ум, характер, полученные благодетели побуждают нас любить этих лиц. Но эта любовь по этой причине не является корыстной; она происходит от того, что эти вещи нам естественно внушают это чувство, ибо часто мы не надеемся через нее ни на какую пользу. Нужно еще заметить, что все это всегда чувствительно или представлено воображением.

14. Если говорить о желании, то не менее ясно, что оно всегда корыстно, ибо противоречиво не желать того, чего желают другие, не хотеть наслаждаться, чувствовать свою потребность в любви к другому.

15. Применим все эти принципы к вопросу о *любви к богу*. Если полагать просто, что мы обязаны питать к богу любовь признательности за все блага, которые мы от него получили, тогда нет сомнения, что правы утверждающие, что эта любовь действительно нечувствительная или, говоря схоластически, *не эффективная*. Но если мы хотим говорить о другой любви, о нежности, то как я сказал, она может рождаться только в чувствительном отношении наших способностей к любимому предмету, отношению, которое не может иметь места здесь потому, что бог не представляется ни чувствам ни воображению.

16. Идея бога — это идея причины, соразмерная с видимыми следствиями и образованная в соответствии с ними; мы доказываем его существование и его атрибуты; он может, таким образом, производить впечатление на наши чувства и на воображение только благодаря удовольствию, которое нам доставляют следствия, и это будет любовь признательности. Если *любовь к богу* понимать как желание, то эта любовь совершенно невозможна в естественной религии, так как она не может нам внушить того, что мы можем каким-нибудь образом получить наслаждение от бога; она согласно откровения возможна лишь, расширяя смысл слов и называя желанием то действительное решение ума, заставляющее предпочитать известное благо другому благу, потому что мы никогда не можем себе составить идею об этом наслаждении.

СУЩЕСТВОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.—О ПОНЯТИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ.—ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВНЕШНИХ СУЩЕСТВ¹

Слово „существование“ (метафизическое) противоположно слову „ничто“ и более обширно, чем слова „реальность“ и „актуальность“, которые противоположны — первое „видимости“, а второе „простой возможности“; оно является синонимом одного и другого, как общий термин охватывает подчиненные ему частные термины; в грамматической форме оно означает *состояние вещи, поскольку она существует.*

Но что такое существовать? Что понимают люди, когда они произносят это слово и когда они его приобрели или образовали? Ответ на эти вопросы будет первым объектом, который мы обсудим в этой статье; затем, после того как мы проанализируем понятие „существование“, мы исследуем способ, посредством которого мы переходим от простого пассивного и внутреннего выражения наших ощущений к суждениям, которые мы выносим о самом *существовании* вещей, и мы попытаемся установить истинные основания всякой уверенности в этом вопросе.

О ПОНЯТИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ

„Я мыслю — значит существую“ — сказал Декарт. Этот великий человек, желая воздвигнуть новое здание своей философии на прочном фундаменте, хорошо чувствовал необходимость освободить себя от всех приобретенных понятий, чтобы

¹ Статья из известной французской энциклопедии, издателями которой были Дидро и Д'Аламбер. — Прим. ред.

отныне обосновать свои предложения на принципах, очевидность которых не нуждалась бы в доказательстве и не подвергалась бы сомнению. Но он был очень далек от того, чтобы подумать, что это первое рассуждение, это первое кольцо, посредством которого он намеревался схватить всю цепь человеческих знаний, само предполагало весьма отвлеченные понятия, развитие которых было очень трудно, — понятия *мысли и существования*. Локк, первый уча нас или, скорее, *доказывая* нам, что все идеи приходят нам от чувств и что в человеческом уме нет ни одного понятия, к которому мы не пришли бы, исходя исключительно от ощущений, показал нам истинную точку, откуда люди отправились и куда нам нужно вернуться, чтобы проследить происхождение всех наших идей.

Я, однако, не намереваюсь здесь взять человека в первый момент его бытия, исследовать, каким образом его ощущения стали идеями, и обсудить, один ли опыт научил его относить свои ощущения к определенным расстояниям, чувствовать ощущения раздельно и образовать себе идею протяженности, как это думает г. аббат де Кондильяк; или напротив, как я это думаю, ощущения, свойственные зрению, осязанию и, может быть, всем другим чувствам, не находятся ли они по необходимости на некотором расстоянии друг от друга и не представляют ли они сами идею протяженности.

Я не имею надобности в этих исследованиях; если человеку в этом отношении нужно пройти какой-нибудь путь, то он весь пройден задолго до того, как он задумает образовать себе отвлеченное понятие *о существовании*; и я могу предположить, что он дошел до точки, которую, вероятно, достигли даже животные, если нам позволено будет считать, что они имеют душу. По крайней мере, не подлежит спору, что человек умел *видеть*, прежде чем научился рассуждать и говорить, и именно в эту определенную эпоху я начинаю его рассматривать.

Лишая человека всего того, что развитие его размышлений позволило ему приобрести, я его беру в некоторый момент или, скорее, я чувствую себя самого застигнутым массой ощущений и образов, которые мне приносят каждое из моих чувств и соединение которых мне представляет мир предметов, отличных друг от друга, и мир другого предмета, единственно представляемого мне ощущениями известного рода и являющегося тем, что я впоследствии научусь называть я. Но

это воспринимаемый мир, из каких элементов он составлен? Из точек черных, белых, красных, зеленых, голубых, темных или ясных, комбинированных на тысячи ладов, помещенных одни вне других, отнесенных на большие или меньшие расстояния и образующих благодаря своей смежности более или менее вогнутую поверхность, на которой останавливается мой взгляд, — вот к чему сводятся все образы, которые я получаю через чувство зрения.

Природа творит передо мной на беспредельном пространстве, точно так же как художник творит на полотне.

Ощущения холода, тепла, сопротивления, которые я получаю через чувство *осязания*, мне представляются также рассеянными тут и там в пространстве с тремя измерениями, различные точки которого они определяют и в котором, когда осязаемые точки являются смежными, они рисуют, так же как зрение, виды образов, но своеобразно очерченных с меньшей точностью.

Вкус мне кажется также локальным ощущением, всегда сопровождаемым ощущениями, свойственными осязанию; он представляет как бы род осязания, связанного с особым органом.

Хотя ощущения, свойственные *слуху и обонянию*, нам не представляют одновременно (по крайней мере постоянно) известного количества смежных точек, которые могли бы образовать фигуры и нам дать идею протяженности, они, однако, имеют свое место в пространстве, размеры которого определяют нам ощущения зрения и осязания, и мы им всегда назначаем место, относя их либо к удаленному от наших органов месту, либо к самим органам.

Не нужно упускать из виду другой порядок ощущений, так сказать, более проникающих, которые, захватывая внутренние части нашего тела и иногда овладевая даже всей его внешностью, кажутся заполняющими три измерения пространства, выражая собой непосредственно идею твердой протяженности. Из этих ощущений я сделаю особый класс под названием *внутреннее осязание*, или шестое чувство. Я введу туда страдания, испытываемые иногда внутри тела, во внутренних частях и в самих костях: тошнота, беспокойство, предшествующее обмороку, голод, жажда, возбуждение, сопровождающее все страсти, легкие ознобы, испытываемые либо вследствие страдания, либо вследствие сладострастия; наконец, это множе-

ство неясных ощущений, которые нас никогда не оставляют, которые в некотором роде ограничивают наше тело, представляя его нам всегда присутствующим, и которые некоторые метафизики в силу этой причины называли *чувствами о существовании нашего тела*.

В этом своего рода анализе всех наших чисто чувствительных идей я отнюдь не отбросил проявлений, предполагающих огражденные понятия и знания значительно более позднего порядка, чем простое ощущение; я должен был ими пользоваться. Человек, рассматриваемый как существо только ощущающее, почти не имеет языка, и он мог обозначать ощущения только примитивными названиями, которые он дал органам, их получающим, или предметам, их возбуждающим. В этом случае вся система наших суждений о *существовании внешних предметов* предполагается уже образованной. Но я уверен, что я нарисовал только положение человека, получающего простые впечатления от чувств; полагаю, что я сделал точный перечень получаемых им впечатлений. Отсюда вытекает, что все идеи о предметах, которые мы замечаем посредством чувств, сводятся в конечном счете к массе ощущений — красок, сопротивления, звуков и т. д., отнесенных к различным расстояниям друг от друга и распространенных в беспредельном пространстве точно масса точек, соединение и сочтание которых образуют картину устойчивого (если здесь можно употребить это слово в том же смысле, какое ему придают геометры), которой все наши чувства одновременно доставляют от бесконечности разнохарактерные и многочисленные образы.

Я еще далек от понятия „существование“, и до сих пор я вижу лишь пассивное впечатление или, самое большое, естественное суждение, посредством которого, как полагают многие метафизики, мы переносим наши собственные ощущения вне нас самих, чтобы распространить их на различные точки исследуемого нами пространства.

Эта картина, составленная из всех наших ощущений, эта идеальная вселенная никогда не бывает одной и той же в течение двух последовательных мгновений; и память, сохраняющая во втором мгновении впечатления первого, делает для нас доступным сравнение этих сменяющихся картин и наблюдение их различия. (Развитие этого явления не входит в рамки этой статьи, и я должен его предположить, ибо память не

является более плодом наших размышлений, чем само ощущение.) Мы нечувствительно приобретаем идеи изменения и движения (заметьте, что я говорю *идея*, а не *понятие*).

Многие соединения этих окрашенных точек, теплых или холодных и т. д. как будто изменяют расстояние, отделяющее одни от других, хотя сами точки, образующие соединения, сохраняют между собой то же расположение и то же соотношение. Это соотношение научает нас отличать эти соединения от массовых ощущений. Массы ощущений, приведенные в порядок, суть то, что мы однажды назвали: *предметы* или *индивиды*. Мы видим, что эти индивиды приближаются, убегают, иногда полностью исчезают, чтобы вновь появиться. Среди этих предметов, или групп ощущений, составляющих движущуюся картину, есть один, который, хотя заключен в весьма тесные пределы по сравнению с обширным пространством, в котором носятся все другие, привлекает наше внимание более чем все остальные вместе. Его в особенности отличают две вещи: его непрерывное присутствие, без которого все исчезает, и особенная природа ощущений, говорящих нам об его присутствии. К нему относятся все ощущения осязания, точно очерчивающие пространство, в котором он заключен. Ему также принадлежит вкус и обоняние; но что привязывает наше внимание к этому предмету наиболее непреодолимым образом — это удовольствие и страдание, ощущения которых никогда не может относиться к какой-либо другой точке пространства. В силу этого этот особенный предмет становится для нас не только центром вселенной и точкой, откуда мы измеряем расстояние, но мы привыкаем еще рассматривать его как наше собственное существо, и хотя ощущения, которые нам изображают луну и звезды, не отличаются по названию от тех, которые относятся к нашему телу, мы их рассматриваем как чужие, и мы ограничиваем чувство об *я* тем маленьким пространством, которое очерчено удовольствием или страданием. Но это соединение ощущений, которым мы, таким образом, ограничиваем наше существо, в действительности, подобно всем другим соединениям ощущений, и является лишь частным предметом большой картины, которую образует идеальный мир.

Все другие предметы меняют места — в каждое мгновение появляются и исчезают, приближаются и удаляются друг от друга и от этого *я*, которое благодаря своему непрерывному

присутствию, становясь необходимыми пределом, с которыми мы их сравниваем. Мы их замечаем вне нас, потому что предмет, который мы называем *мы*, является лишь частным предметом, как и они, и потому что мы не можем относить наши ощущения к различным точкам пространства без того, чтобы не видеть соединения этих ощущений раздельно; но, хотя мы их замечаем вне нас, так как их восприятие всегда сопровождается *я*, это одновременное восприятие устанавливает между ними и нами отношение присутствия, которое дает двум пределам этого отношения—*я* и внешний предмет—всю реальность, которую сознание обеспечивает чувству *я*.

Это сознание присутствия предметов не является еще понятием *существования* и даже не *присутствия*, ибо как мы увидим из дальнейшего исследования, все предметы ощущения не рассматриваются как присутствующие. Предметы, расстояние и движение которых вокруг нашего тела мы наблюдаем, нас интересуют благодаря эффектам, которые эти расстояния и эти движения производят, как нам кажется, на наше тело, т. е. благодаря ощущениям удовольствия и страдания, которые эти движения могут нам дать и которыми они сопровождаются или вызываются у нас вслед за ними. Имеющаяся у нас возможность по желанию изменять расстояние от нашего тела к другим неподвижным предметам через движение, приписать которое последним нам мешает сопровождающее его усилие, служит для того, чтобы искать предметы, приближение которых дает нам удовольствие, и избегать тех, приближение которых сопровождается страданием. Присутствие этих предметов становится источником наших желаний и наших страхов и мотивом движений нашего тела, шествие которого мы направляем среди всех других тел, точно как кормчий ведет судно по морю, усеянному скалами и покрытому неприятельскими судами. Это сравнение, которое я употребляю отнюдь не как украшение, тем более окажется пригодным для того, чтобы сделать чувствительной нашу идею, что положение кормчего является только частным случаем положения, в котором находится человек в природе, окруженный, теснимый, пересекаемый, толкаемый всеми существами. Продолжим это сравнение.

Если бы кормчий думал только о том, чтобы избежать скал, показывающихся на поверхности моря, то крушение его судна, натолкнувшегося на подводный камень, без сомнения,

научило бы его бояться других опасностей, кроме тех, которые он замечает; он также не поехал бы очень далеко, если бы, отправляясь, он увидел бы порт, куда он желал прибыть. Как и он, человек вскоре извещается через очень чувствительные воздействия существ, которые он перестал видеть, либо удаляясь от них, либо во время сна, или только закрывая глаза, что исчезнувшие предметы отнюдь не уничтожены и что границы его ощущений не являются границами вселенной. Отсюда рождается новый порядок вещей, новый интеллектуальный мир, столь же обширный, сколь чувствительный мир ограничен. Если предмет, увлеченный далеко от наблюдателя быстрым движением, наконец, теряется в отдалении, воображение совершает свой бег дальше, чем это доступно чувствам, предусматривает его действия и измеряет его скорость; оно сохраняет план взаимных расположений предметов, которых чувства не видят; оно протягивает линии сообщения между предметами актуального ощущения и предметами прошлого ощущения; оно измеряет расстояние между ними; оно доходит даже до того, что предвидит изменения, которые должны были произойти в этом положении благодаря большей или меньшей скорости движения предметов. Опыт проверяет все эти вычисления, и тогда отсутствующие предметы входят, как и присутствующие, в общую систему наших желаний, наших страхов, мотивов наших действий; человек, как и судоводитель, избегает и ищет предметы, которые скрываются от всех его чувств.

Вот новая цепь и новые отношения, посредством которых существа, предполагаемые вне нас, связываются с сознанием *я* не в силу простого одновременного нашего совершенствования, потому что часто они совсем не видимы, но вследствие соотношения, связывающего между собой изменения всех существ и наши собственные ощущения как причины и следствия.

Так как эта новая цепь отношений распространяется на массу предметов, находящихся вне доступа для чувств, человек вынужден более не смешивать самих предметов со своими ощущениями. Он научается отличать одни от других *присутствующие* предметы (т. е. заключенные в пределы актуального положения, связанные с сознанием *я* через одновременное восприятие) и *отсутствующие* существа, т. е. указанные только через их следствия или памятью о прошед-

ших ощущениях; предметы, которых мы не видим, но которые благодаря некоторому сцеплению причин и следствий действуют на предметы видимые; объекты, которые мы увидели бы, если бы они были помещены в подходящее положение и на соответствующем расстоянии и которые другие подобные нам существа, быть может, видят в этот самый момент, т. е., и еще раз, что эти существа, не будучи нам представлены через ощущения, образуют между собой с видимыми нам предметами и с нами самими цепь отношений либо взаимных действий, либо только расстояния; отношения, в которых я всегда один из пределов и реальность всех других, нам удостоверяется сознанием этого я.

Попытаемся теперь проследить понятие „существование“ в процессе его образования. Первое основание этого понятия — это сознание нашего собственного ощущения и чувство я, вытекающее из этого сознания. Необходимое отношение между существом замечаящим и существом замечанным, рассматриваемым вне я, предполагает в обоих пределах одинаковую реальность. В одном и другом есть основание этой реальности, которую человек, если бы он имел язык, мог бы обозначать общим именем — *существование* или *присутствие*, ибо эти два понятия не были бы еще отличимы одно от другого.

Привычка видеть вновь появившимися чувствительные предметы, после того как они были в течение некоторого времени утеряны, и вновь найти в них те же черты и то же действие на нас научило нас познавать предметы не только через наши ощущения, но и другими отношениями, и таким образом их отличать. Мы даем, если я смею так выразиться, наше признание воображению, которое изображает нам эти предметы прошедшего ощущения с такими же красками, как и предметы настоящего ощущения, и им назначает, как и последним, место в окружающем нас пространстве, и мы, следовательно, признаем между этими воображаемыми предметами и нами те же отношения расстояния и взаимного действия, которые мы наблюдаем между актуальными предметами ощущения. Это новое отношение кончается в сознании я так же, как отношение, имеющееся между существом замечаящим и существом замечаемым: оно также предполагает реальность в двух пределах и основание их отношения, которое могло быть еще обозначено общим именем — *существование*. Или, скорее, само действие воображения, когда оно представляет

эти предметы с теми же отношениями действия и-расстояния либо между предметами, либо последних с нами, таково, что предметы, ныне представленные нашим чувствам, могут занять место общего имени и стать как бы первичным наречием, заключающим под одной и той же *концепцией* реальность всех существ, которые, как мы предполагаем, распространены в пространстве. Но очень важно заметить, что ни простое ощущение присутствующих предметов, ни картина, рисуемая воображением об отсутствующих предметах, ни простое отношение расстояния или взаимной деятельности, общее как одним, так и другим, не являются точно той вещью, которую ум хотел бы обозначать общим наименованием — *существование*: это само основание этих отношений, предполагаемое общим и нам и предмету видимому и предмету просто отсутствующему, которое является подлинным источником наименования *существования* и нашего утверждения о том, что вещь *существует*.

Это основание не есть и не может быть известным непосредственно, и нам оно указано лишь через различные предполагающие его отношения; мы, однако, образуем себе о нем род идеи, которую мы путем абстракции извлекаем из свидетельства, даваемого нам сознанием о нас самих и о нашем актуальном отношении, т. е. что мы переносим в некотором роде это сознание я на внешние предметы через неясную ассимиляцию, тотчас же отвергнутую вследствие отделения всего того, что касается я, но которое достаточно, чтобы стать основанием абстракции или общего знака и чтобы стать предметом наших суждений.

Понятие „существование“ является, таким образом, одним и тем же в одном смысле — призывает ли разум это понятие только к предметам ощущения или он его распространяет на предметы, которые воображение ему представляет с отношениями расстояния или деятельности, ибо оно всегда заключено в самом сознании я, более или менее обобщенном. То, что дети наделяют чувством все то, что они видят, и склонность, которую должны были иметь первые люди, распространять разум и жизнь на всю природу убеждают меня в том, что первым шагом этого обобщения было наделять все предметы, видимые вне нас, всем тем, что сознание нам сообщает о нас самих и что человек в эту первую эпоху разума столько же затруднялся бы признать материальную

субстанции, как материалист в настоящее время затрудняется верить в субстанцию чисто духовную или картезианец принять притяжение.

Различия, которые мы заметили между животными и другими предметами, заставили нас выделить из понятия „*существование*“ сначала ум, а впоследствии и чувствительность. Мы видели, что оно было сначала распространено только на предметы актуального ощущения, а именно к этому ощущению, относимому вне нас, оно было привязано, так что оно становилось вроде как неотделимым от него знаком, который разум не пытался от него отнять.

Между тем отношения расстояния и деятельности между предметами и нами были замечены; они также вместе с я указывали отношение, предполагавшее одинаковое общее основание, к которому концепция *существования*, выведенная из сознания я, была не менее применима; но так как это отношение было представлено только самим ощущением, то должны были специально привязать к нему концепцию *существования*, лишь когда были признаны отсутствующие предметы. За отсутствием отношения ощущения, которое перестало быть общим, отношение расстояния и деятельности, обобщенное воображением и перенесенное от предметов актуального ощущения на другие предполагаемые предметы, становится знаком *существования*, общим двум порядкам предметов, а отношение актуального ощущения стало лишь знаком *присутствия*, т. е. частного случая, обнимаемого общей концепцией *существования*.

Я пользуюсь этими двумя словами, чтобы сокращенно обозначить два понятия, которые в эту эпоху начинают действительно отличаться друг от друга, хотя они еще не приобрели всех ограничений, долженствующих их характеризовать впоследствии. Чувства имеют свои иллюзии, и воображение не знает границ; однако и иллюзии чувств и наибольшие прыжки воображения представляют нам предметы размещенными в пространстве с теми же отношениями расстояния и деятельности, как и наиболее регулярные впечатления чувств и памяти. Только опыт мог научить узнавать различие этих двух случаев и только к одному из двух привязывать концепцию *существования*. Вскоре заметили, что между этими картинами одни представлялись в известном порядке и их первые очертания всегда производили те же эффекты, которые можно

было предвидеть, ускорять или избегать, и другие картины, весьма кратковременные, предметы которых не производили никакого постоянного эффекта и не могли внушать нам ни страха, ни желаний, ни служить мотивами наших поступков. Поэтому они не вошли в общую систему существ, среди которых человек должен направлять свой путь, и им не приписали никакого отношения к перманентному сознанию я, которое предполагало наличие основания вне этого я. Таким образом, в картинах, представляемых чувствами и воображением, отличали предметы *существующие* от предметов, просто кажущихся, и *реальность от иллюзий*. Связь и согласие между вновь замечаемыми предметами с общей системой уже известных существ становится правилом для суждения о реальности первых, и это правило служит также для отличия ощущения от воображения в случае, когда живость образов и недостаток точек сравнения сделали бы неизбежной ошибку, как в снах и в бреде. Это правило служит также для разъяснения иллюзий самих чувств в зеркалах, в рефракциях и т. д., и раз эти иллюзии были установлены — нельзя было более придерживаться отделения единственно *существования* от ощущения; нужно было еще отделить ощущение от понятия „*существование*“ и даже от понятия присутствия, и отныне рассматривать ощущение только как знак одного и другого, который мог иногда вводить в заблуждение.

Не развивая различий между нашими ощущениями и существами, которые они представляют с такой точностью, как это сделали потом современные философы, которые не знали того, что ощущения являются лишь видоизменением нашей души, и не слишком себя затрудняли вопросом о том, образуют ли реальные существа и ощущения два порядка вещей, полностью отделенных друг от друга и связанных только сходством более или менее точным и относительным к известным законам, — люди взяли из этой идеи все, что она имела в себе практического. Один только опыт был достаточен, чтобы направлять страх, желания и действия людей не философов в отношении реального порядка вещей, так как они существуют вне нас; и это не мешает продолжать смешивать ощущения с самими предметами, когда для этого нет никакого практического неудобства. Однако, несмотря на это смешение, наши страхи, наши желания и наши собственные движения всегда регулируются движением и расстоянием предметов.

Таким образом, разум должен был приучать себя полностью отделять *ощущение* от понятия „*существование*“, и он настолько к этому приучился, что дошел до отделения его также от понятия „*присутствие*“, так что слово „*присутствие*“ означает не только *существование* предмета, актуально замечаемое чувствами, но оно распространяется даже на всякий предмет, заключенный в пределах, где чувства могут актуально замечать, и находящийся в условиях, доступных для чувств независимо от того, был он или не был замечен.

В этой общей системе окружающих нас существ, на которые мы действуем и которые в свою очередь действуют на нас, есть такие, которые мы видели последовательно появляющимися и вновь появляющимися и которые мы рассматривали как части системы, куда мы сами помещены, и которые мы навсегда теряем из виду; есть другие, которых мы никогда не видели и которые вдруг появляются среди существ, чтобы показываться некоторое время и чтобы затем безвозвратно исчезнуть. Если бы этот эффект был всегда результатом местного перемещения, выжившего лишь в том, что предмет навсегда был удален из сферы, доступной нашим чувствам, то это было бы только продолжительным отсутствием; но небольшой объем воды, выставленный на теплый воздух, исчезает на наших глазах без видимого движения; деревья и животные перестают жить, и от них остается лишь очень маленькая неузнаваемая часть под видом легкого пепла. Отсюда мы приобретаем понятие разрушения, смерти, уничтожения. Новые существа того же рода, что и первые, их замещают; мы предвидим конец этих последних, видя их рождение; опыт нас научил ожидать других после них. Таким образом, мы видим, что существа следуют друг за другом, как наши мысли.

Здесь не место объяснять происхождение понятия времени, ни показывать, как понятие „*существование*“ содействует с последовательностью наших мыслей, чтобы нам дать это понятие. Достаточно сказать, что, когда мы перестали приписывать предметам отношение с нами, делавшее для них общим свидетельство, которое наши собственные мысли нам дают о нас самих, т. е. память, воспоминающая нам их образ, мы вспоминаем в то же время отношение, существовавшее между нами и ими во время, когда другие мысли, которых уже нет, нам давали свидетельство о нас самих, и мы говорим, что эти предметы *бывали*: память им указывает эпохи и расстоя-

ния в продолжительность, как и в протяженности. Воображение не может следовать за ходом движений, сообщенных телам, без сравнения продолжительности с пройденным пространством; оно, следовательно, заключает, исходя из прошлого движения и из настоящего места, о новых отношениях расстояния, которых еще нет; оно раздвинет границы настоящего момента, в котором мы находимся, как оно расширило границы актуального ощущения. Мы вынуждены тогда освободить понятие *существования* от всякого отношения, которое еще не существует и которое, быть может, никогда не будет существовать с нами и с сознанием наших мыслей. Мы вынуждены тогда самих себя потерять из виду и, чтобы приписать *существование* предметам, вынуждены рассматривать только их сцепление со всей системой существ, *существование* которых нам, по правде сказать, известно лишь благодаря их отношению к нашему существованию; но эти существа остаются независимыми и будут существовать, когда нас не будет. Эта система через связь между причинами и следствиями бесконечно распространяется в продолжительности и в пространстве. Поскольку мы являемся одним из пределов, к которым относятся все другие части посредством цепи актуальных отношений, свидетелем которых является сознание наших текущих мыслей, постольку предметы *существуют*. Они *существовали*, если для нахождения их сцепления с настоящим состоянием системы нужно подниматься от следствий к их причинам. Они *будут существовать*, если, напротив, нужно спуститься от причин к следствиям. Итак, *существование* есть *прошедшее, настоящее* или *будущее*, в зависимости от того, как оно относится нашими суждениями к различным степеням продолжительности.

Но будет ли *существование* предметов — прошедшее, настоящее или будущее, — оно, как мы видели, не может нам быть подтверждено, если оно не имеет либо само, либо через сцепление причин и следствий отношения с сознанием *я* или к нашему временному существованию. Однако, хотя без этого отношения мы не могли бы удостоверить существование предмета, мы по этой причине не уполномочены его отрицать, ибо то же сцепление причин и следствий устанавливает отношения расстояния и деятельности между нами и очень большим числом существ, которые мы знаем в течение чрезвычайно малого числа мгновений их продолжительности или которые

даже никогда не достигают нашего сознания. Это состояние неуверенности представляет нам лишь простое понятие *возможности*, которое не должно исключать *существование*, но не содержит ее обязательно. Возможная вещь, которая существует, есть вещь актуальная; таким образом, всякая актуальная вещь есть существующая и всякая существующая вещь — актуальная, хотя *существование* и *актуальность* не являются двумя словами, совершенно однозначными, потому что слово „*существование*“ абсолютное, а слово „*актуальность*“ коррелятив возможности.

До сих пор мы развивали понятие „*существование*“ так, как оно сложилось в уме большинства людей: его первые основания, способ его образования путем ряда абстракций все более и более общих и дифференцированных относительных или подчиненных понятий. Но мы его не проследили еще до той точки отвлеченности и общности, до которой философия его подняла. В самом деле, мы видели, как чувство *я*, которое мы рассматриваем как источник понятия „*существование*“, было путем отвлечения перенесено на сами ощущения, рассматриваемые как предметы вне нас; как это чувство *я* было обобщено путем выделения ума и всего того, что характеризует наше собственное существо; как затем новая абстракция перенесла его с предметов ощущения на все те предметы, следствия которых нам указывают какие-нибудь отношения расстояния и деятельности с нами самими. Эта степень абстракции была достаточна для обыкновенного употребления жизни, и только философия имела надобность сделать несколько дальнейших шагов, но ей нужно было лишь идти по той же дороге. Ибо, так как отношения расстояния и деятельности не суть точно понятие *существования* и являются, как мы это видели, в некотором роде только необходимым знаком, так как это понятие не более, как чувство *я*, перенесенное путем абстракции не на отношение расстояния, но на сам предмет, являющийся пределом этой абстракции, — мы имеем даже право распространить это понятие на новые предметы, суживая его новыми абстракциями и отделяя от него всякое отношение расстояния и деятельности с нами, как мы выше отделяли всякое отношение существа замеченного к существу замечающему. Мы признали, что о *существовании* существ нужно было судить не по непосредственному отношению существ к нам, но по их связи с общей системой, в

которой мы участвуем. Правда, эта система всегда связана с нами через сознание наших настоящих мыслей, но не менее верно, что мы в ней не представляем существенных частей, что она существовала без нас, что она будет существовать после нас и что, следовательно, отношение, которое она имеет с нами, не является необходимым для ее существования, а только для того, чтобы ее существование было нам известно; следовательно, другие совершенно подобные системы могут существовать в обширной протяженности пространства, изолированные одна от другой без всякой взаимной деятельности и с одним отношением расстояния, так как они находятся в пространстве. И кто нам сказал, что не может быть других систем, составленных из существ, которые не имеют между собой отношения расстояния и которые не существуют в пространстве? Мы их не постигаем. Кто нам дал право отрицать все то, что мы не постигаем, и выдвигать наши идеи как пределы вселенной? Мы сами, вполне ли мы уверены, что существуем в одном месте и что мы со всяким существом имеем отношения расстояния?

Вполне ли мы уверены в том, что этот порядок ощущений, относимых на идеальные расстояния друг от друга, точно соответствует действительному порядку расстояния между существующими существами? Вполне ли мы уверены в том, что ощущение, дающее нам свидетельство о нашем собственном теле, закрепляет за ним место в пространстве, лучше определенное, чем ощущение, которое дает нам свидетельство о *существовании звезд* и которое, будучи по необходимости отклонено вследствие аберрации, показывает их нам там, где их нет? Если же *я*, сознание которого есть единственный источник понятия *существования*, может само не быть в пространстве, как может это понятие обязательно содержать отношение расстояния с нами? Поэтому необходимо последнее от него отделить, как были от него отделены отношения деятельности и ощущения. Тогда понятие „*существование*“ будет абстрактно настолько, насколько это для него возможно, и не будет иметь другого знака, кроме самого слова „*существование*“. Это слово, как мы это видим, не будет соответствовать никакой идее, как исходящей от чувств, так и от воображения, разве только сознанию *я*, обобщенному и отделенному от всего, что характеризует не только *я*, но даже все предметы, на которые оно могло бы

перенесено путем абстракции. Я хорошо знаю, что это обобщение заключает в себе внутреннее противоречие, но все абстракции находятся в таком же положении, и потому-то их общность находится только в знаках, а не в вещах. Так как понятие „*существование*“ не содержит никакой другой частной идеи, кроме идеи о самом сознании *я*, идеи по необходимости простой, применимой, впрочем, ко всем существам без исключения,—это слово не может быть определено в собственном смысле, и достаточно показать, какими ступенями могло образоваться означаемое им понятие. Я не полагал необходимым для этого изложения проследить ход языка и образования имен, соответствующих *существованию*, ибо я рассматриваю это понятие как значительно предшествовавшее именам, которые ему давали, хотя эти имена являются первыми успехами языков.

Я также не буду обсуждать многие вопросы, возбужденные схоластиками о *существовании*, как: *подходит ли оно к формам, не пригодно ли оно только к индивидам* и т. д. Решение этих вопросов должно зависеть от того, что понимается под существованием, и тут нетрудно применить то, что я сказал. Я, быть может, слишком долго остановился на анализе, значительно более трудном, чем он покажется важным, но я полагал, что положение человека в природе среди других существ, цепь, которую устанавливают ощущения между существами и им, и способ, которым человек рассматривает свои отношения с ними, должны приниматься как подлинные основания философии, в отношении которых ничем нельзя пренебрегать. Мне остается исследовать, какого рода доказательства имеем мы о *существовании внешних существ*.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВНЕШНИХ СУЩЕСТВ

Если предположить, что мы не знали других предметов, кроме тех, которые представляются ощущением, то суждение в силу которого мы рассматривали эти предметы, как помещенные вне нас и распространенные в пространстве на различных расстояниях, отнюдь, не является ошибочным. Это лишь сам факт впечатления, испытываемого нами и распространяемого только на отношение между предметом и нами

т. е. между двумя вещами, одинаково идеальными, расстояние которых тоже чисто идеальное и такого же порядка, как эти два предела. Ибо *я*, с которым тогда сравнивается расстояние предмета, всегда является не чем иным, как лишь частным предметом картины, которую нам изображает совокупность наших ощущений; *я*, как и все другие предметы, становится для нас присутствующим только благодаря нашим ощущениям, место которых определяется соотносительно с другими ощущениями, составляющими картину, и оно отличается от других предметов лишь чувством сознания, которое ему не указывает никакого места в абсолютном пространстве. Если бы мы тогда ошибались в чем-нибудь, то это было бы скорее в том, что мы сводим сознание *я* к частному предмету, хотя все другие ощущения, распространенные вокруг нас, являются одинаково видоизменениями нашей субстанции. Но так как Рим и Лондон существуют для нас, когда мы находимся в Париже, ибо мы судим о существах, как существующих независимо от наших ощущений и нашего собственного *существования*, порядок наших ощущений, представляющихся нам одни вне других, и порядок существ, помещенных в пространстве на реальных расстояниях друг от друга, образуют два порядка вещей, два отдельных мира, из коих, по крайней мере, один абсолютно независим от другого. Я говорю — *по крайней мере*, ибо отражения и преломления света и все игры оптики, картины воображения и в особенности иллюзии снов нам достаточно доказывают, что все впечатления чувств, т. е. восприятия звуков, холода, тепла, удовольствия и страдания, могут иметь место и представлять нам предметы вокруг нас, хотя последние не имели бы никакого *реального существования*. Таким образом, здесь не было бы никакого противоречия с тем, что тот же порядок испытываемых нами ощущений имеет место при отсутствии какого бы то ни было другого существа; отсюда рождается большое затруднение в *достоверности* суждений, которые мы распространяем на реальный порядок вещей, так как эти суждения не опираются и не могут опираться на идеальный порядок наших ощущений.

Все люди, которые не подняли свое понятие *существования* выше той степени абстракции, посредством которой мы переносим это понятие от предметов, непосредственно чувствуемых, на предметы, только указанные их следствиями и

отнесенные на расстояния, недоступные нашим чувствам (см. первую часть этой статьи), смешивают в своих суждениях эти два порядка вещей. Они верят, что видят и осязают тела. Что касается идеи, которую они себе составляют о *существовании* невидимых тел, то воображение изображает их облеченными теми же чувствительными качествами, ибо они дают название лишь своим собственным ощущениям и они, конечно, таким образом, приписывают эти качества всем существам. Эти люди, когда они видят предмет там, где его нет, полагают, что ложные и обманчивые образы заняли место этого предмета, и не замечают, что именно их суждение ложно. Нужно признать, что сходство между порядком ощущений и порядком вещей в отношении большинства предметов, которые нас окружают и которые производят на нас наиболее живые и наиболее относящиеся к нашим потребностям впечатления, таково, что обычный жизненный опыт не доставляет нам никакой помощи против этого ложного суждения и что оно, таким образом, становится естественным и недобровольным. Не нужно поэтому удивляться тому, что большинство людей не может себе представить, что имеется надобность доказать *существование* тел.

Философы, которые наиболее обобщили *понятие существования*, признали, что их суждения и их ощущения базировались на двух, чрезвычайно различных порядках вещей, и они чувствовали всю трудность укрепления своих суждений на солидном основании. Некоторые из них разрубили узел, отрицая существование всех внешних предметов и допуская только одну реальность — реальность своих идей их назвали *эгоистами* и *идеалистами*. Некоторые удовлетворились отрицанием *существования тел* и материального мира, и их назвали *имматериалистами*. Эти заблуждения чрезвычайно тонкие, чтобы быть очень распространенными; известно только несколько их сторонников, если не считать индийских философов, среди которых, говорят, есть секта *эгоистов*.

Только знаменитый клойнский епископ, доктор Беркли, известный большим числом трудов, полных ума и странных идей, в последнее время своими диалогами между Иласом и Филонойсом привлек внимание метафизиков к этой забытой системе. Большинство нашло более простым отнестись к нему с презрением, чем ему отвечать, и это, в самом деле, было гораздо легче. Другие пытались в статье *имматериализм* опро-

вергнуть его рассуждения и установить *существование* материального мира. Автор статьи ограничился тем, что показал, насколько необходимо ему ответить, и указал единственный род доказательств, которым можно было бы пользоваться, чтобы доказать не только *существование тел*, но также реальность всего того, что не включено в наше ощущение актуального и мгновенного.

Что касается необходимости дать доказательства существования тел и всех внешних существ, то говоря, что опыт и известный механизм наших чувств доказывают, что ощущение не является предметом, что оно может существовать без всякого предмета вне нас и что однако мы, действительно, видим только ощущение, можно было бы думать, что все сказано, если бы какой-либо метафизик, даже из тех, кто пытался опровергнуть Беркли, не прибегал еще к доказательству присутствия предметов посредством ощущений и к склонности, побуждающей нас невольно довериться в этом отношении нашим чувствам. Но каким образом могло бы ощущение непосредственно и само собой быть свидетельством присутствия тел, если оно не есть тело и в особенности если опыт ежедневно нам показывает случаи, когда это ощущение существует без тел? Возьмем, например, чувство, которому мы обязаны наибольшим количеством идей, — *зрение*. Я вижу тело, т. е. я на некотором расстоянии замечаю окрашенное изображение такого или иного вида; но кто не знает, что это изображение затрагивает мою душу лишь потому, что пучок лучей, движимых с той или иной скоростью, поразил мою сетчатку под тем или иным углом? Что же зависит от предмета, если все дело в том, чтобы концы лучей, наиболее близких к моему органу, были движимы с одинаковой скоростью и в том же направлении? Какое значение имеет даже движение лучей, если нервные волокна, передающие ощущение от сетчатки к головному мозгу, волнуются теми же колебаниями, которые сообщили им лучи света? Если хотите придать чувству осязания более полное доверие, чем чувству зрения, на чем будет обосновано это доверие, если не на близости предмета и органа? Но не смогу ли я всегда применять здесь то же рассуждение, которое я сделал о зрении? Нет ли и здесь также от концов нервных сопочков, распространенных под кожей, ряда колебаний, которые должны сообщаться с головным мозгом? Кто может

нас убедить в том, что этот ряд колебаний может начаться только под давлением, сделанным на внешнем конце нерва, а не под каким-нибудь давлением, начинающемся в середине?

Вообще в механике всех наших чувств всегда есть ряд тел, расположенных в известном направлении, начиная от предмета, рассматриваемого как причину ощущения, до головного мозга, т. е. до последнего органа, с движением которого связано ощущение. А в этом порядке движение и направление точки, которая непосредственно касается головного мозга, разве они недостаточны, чтобы заставить нас испытывать ощущение, и не безразлично ли в какой точке ряда движение началось и по какому направлению оно было передано? Не по этой ли причине, какова бы ни была кривая, описанная лучами в атмосфере, ощущение всегда относится в направлении касательной к этой кривой? Не могу ли я рассматривать каждое нервное волокно, по которому колебания достигают до головного мозга, как вид луча? Не может ли каждая точка этого луча непосредственно получать колебание, равное тому, которое она получила бы от предшествовавшей ей точке, и в этом случае не будем ли испытывать ощущение без того, чтобы оно было вызвано предметом, к которому мы это ощущение относим? Кто мог бы нас убедить даже в том, что колебание наших органов является единственной возможной причиной наших ощущений? Знаем ли мы их природу? Если благодаря последнему усилию мы сведем непосредственное присутствие предметов наших ощущений до нашего собственного тела, то я спрошу, во-первых, каким путем мы познали присутствие нашего тела, если также не через ощущения, относимые к различным точкам пространства, и почему эти ощущения предполагали бы скорее *существование* отличного от них тела, чем ощущения, представляющие нам деревья, дома и т. д. и точно также относимые нами к различным точкам пространства? Что касается меня, то я тут не вижу другого различия, кроме того, что ощущения, относимые к нашему телу, сопровождаются чувствами более живыми, либо удовольствия, либо страдания; но я не представляю себе, почему ощущение страдания должно предполагать с большей необходимостью больное тело, чем ощущение хлебного зерна предполагает тело, отражающее известные лучи света. Я спрошу, во-вторых, люди, которых

отрезают члены и которые чувствуют очень живые страдания, относимые ими к этим отрезанным членам, имеют ли они вследствие этих страданий непосредственное чувство присутствия руки или ноги, которых они больше не имеют? Я не установлюсь, чтобы отвергнуть следствия, которые хотели извлечь из имеющейся у нас склонности верить в *существование* тел вопреки всем метафизическим рассуждениям: мы имеем такую же склонность распространять наши ощущения на поверхности внешних предметов, и все знают, что привычка достаточна, чтобы сделать для нас наиболее ложные суждения почти естественными. Скажем в заключение, что никакое ощущение не может непосредственно и само собой нас убедить в *существовании* какого бы то ни было тела.

Не сможем ли мы, однако, выйти из нас самих и из этой своего рода тюрьмы, где природа удерживает нас заключенными и изолированными среди всех существ? Не нужно ли будет нам себя ограничить и не допускать вместе с *идеалистами* никакой другой реальности, кроме нашего собственного ощущения? Мы знаем род доказательств, которым мы приучились доверять; мы даже не имеем других, чтобы себя убедить в *существовании* предметов, которые в настоящее время не представлены нашим чувствам и о которых мы, однако, не имеем никакого сомнения, — это *индукция*, которая выводится из следствий, чтобы подняться до причины. Свидетельство, являющееся источником всякой исторической достоверности, и памятники, подтверждающие свидетельство, суть только явления, объясняемые путем предположения исторического факта. В физике поднятие ртути в трубках вследствие давления воздуха, движение звезд, суточное движение земли и ее годовое движение вокруг солнца, притяжение тел — все это многие факты, которые доказываются только точным совпадением сделанного предположения с наблюдавшимися явлениями. А наши ощущения хотя не бывают и не могут быть существующими вне нас субстанциями, хотя актуальные ощущения не бывают и не могут быть прошедшими ощущениями — все они суть факты; и если, поднимаясь от этих фактов к их причинам, чувствуешь себя вынужденным допустить систему существ умственных или телесных, существующих вне нас, и ряд ощущений, предшествовавших актуальному ощущению и связанных с прежним

состоянием системы существующих существ,— эти две вещи— *существование внешних предметов* и наше *прошлое существование* — будут укреплены на единственном роде доказательств, которым они могут быть доступны; ибо, так как актуальное ощущение является единственной вещью непосредственно достоверной, все то, что лежит вне ее, не может приобрести другой достоверности, кроме той, которая восходит от следствия к его причине.

Подниматься же от следствия к его причине можно двумя способами или факт, о котором идет речь, является следствием только одной причины, которую он необходимо указывает и которая может быть доказана путем исключения как единственно возможная, или факт мог быть следствием многих причин

В первом случае достоверность причины точно равна достоверности следствия; именно на этом принципе основано рассуждение *что-то существует — значит что-то существовало испокон века?* и таково истинное основание метафизических доказательств о *существовании бога* Эта самая форма рассуждения употребляется также наиболее обычно в гипотезе, признанной согласно известным законам природы; так, ввиду того что законы падения тяжелых тел установлены, скорость, приобретенная падающим телом, наглядно показывает нам высоту, с которой он упал.

Другой способ подниматься от известных следствий до неизвестной причины состоит в разгадывании природы, точно как в загадке, именно — вообразить одну или несколько гипотез, их проследить в их выводах, их сравнить с обстоятельствами явления, их испытать на фактах, как проверяют печать, прикладывая ее к отпечатку; в этом-то заключаются основы искусства дешифровать, основы критики фактов и основы физики; и так как ни внешние существа, ни прошедшие факты не имеют с актуальным ощущением никакой связи, необходимость которой нам была доказана, придумывание гипотез и их исследование являются также единственными возможными основаниями всякой достоверности по вопросу *существования внешних предметов* и нашего *прошедшего существования*. Здесь не место ни останавливаться на развитии взгляда, как этот род доказательств возрастает в силе от правдоподобия до достоверности, по мере того как увеличивается сходство между предположенной причиной

и явлениями; ни доказывать, что он мог бы дать нашим суждениям всю уверенность, которая им доступна и которую мы можем желать. Это должно быть выполнено в статьях *„Достоверность“* и *„Вероятность“*. В отношении применения этого рода доказательств к достоверности памяти и к *существованию тел* смотрите статьи *„Личное тождество“*, *„Память“* и *„Имматериальность“*.